

АЛЕКСАНДР ГРОМОВ

ЛЮБОВЬ

ПОВЕСТЬ

32

Люба стала внимательнее следить за матерью и вдруг поняла, что та действительно старится на глазах: она стала сутулиться, словно её тянуло к земле, часто заговаривала сама с собой, Люба поначалу прислушивалась, но речь её становилась всё более бессвязной и непонятной, будто она говорила на древнем, давно забытом языке, но больше всего Любу пугало, когда мама замирала и могла долго, по полчаса стоять, сосредоточенно вглядываясь в нечто невидимое. Она могла замереть так перед полками с посудой, перед дверьми сарая, просто перед стеной... Пожалуй, только в церкви с Катериной не случалось таких обмираний, но службу она уже не вела, а только приглядывала, следила же за всем Люба, это получилось само собой, и никого не удивляло.

В феврале на институтские каникулы приехала из города Ольга Сорокина, с которой Люба училась в одном классе, она пришла с бабушкой в храм, и, пока та отдыхала на скамеечке в окружении таких же старух, девушки вышли на морозный воздух, и Ольга делилась впечатлениями о студенческой жизни. Всё ей в городе нравилось. Учёбы она почти не касалась, мол, нормально, а вот про всякие молодёжные тусовки рассказывала с увлечением. Она там ещё оказалась активисткой, ходила на митинги, и вообще в городе, по её словам, была движуха, а тут... Она запнулась, подбирая слово, чтобы не обидеть родное село, но Люба подсказала:

— А у нас тихо...

— Да, — согласилась Ольга, — тишь да благодать, — и она рассмеялась. В это время к храму подходила Катерина:

— Здравствуй, Оленька!

— Здравствуйте, — машинально ответила та.

Катерина пошла дальше, а Ольга, посмотрев в сторону прошедшей в храм женщины, и спросила:

— А кто это?

— Мама, — тихо ответила Люба.

И у обеих одновременно вырвалось нечто похожее на “ой”! Ольге было уже неловко продолжать рассказ о весёлой городской жизни, а Люба задумалась о своём.

— Прости, — сказала Ольга. — Я долго не была дома... С лета, считай, тут так всё изменилось... — и опять осеклась, поняв, что с лета, когда она уехала поступать в институт, прошло чуть больше полугода, и это не такой большой срок, чтобы не узнать человека, с которым встречалась едва ли не каждый день.

— Мама изменилась, — отозвалась Люба. — Мы с ней всё время рядом, и это не так бросается в глаза, а ты давно не видела и вот заметила, — и эхом повторила: — С лета...

Дома Люба спросила маму: может, стоит показаться врачу? Но та была категорична: у меня ничего не болит.

— Тогда что с тобой? — воскликнула Люба.

Катерина пожала плечами.

Ночью на Масленой неделе Люба услышала стон. Показалось, что это где-то далеко-далеко скулит потерявшаяся собачка, но, когда поняла, откуда на самом деле исходит звук, сжалась от охватившего страха и тут же сковавшего бессилия, а потом вдруг пришло понимание: мама умирает, и ничего сделать невозможно.

Люба так и не уснула, поднялась раньше обычного, сделала всё нужное в доме и во дворе и ушла. Придя в храм, начала чистить и без того отдраенные подсвечники, потом зашла на клирос, увидела приготовленные к вечерней службе книги, открыла Псалтырь и стала читать. Сначала она читала про себя, потом незаметно перешла на шёпот, потом негромко, но так, что в пустом храме слышалось каждое слово, стала читать вслух. Читала она медленно и слегка нараспев, будто плакала. И плач у неё выходил не надрывный и тягостный, какой бывает у плакальщиц или отчаявшихся людей, а получалась долгая песня, от которой становилось грустно и светло. Дочитав кафизму, она, словно переводя дух, стихла и услышала за спиной:

— Бог в помощь.

Люба обернулась: у входа стоял отец Василий, и, видимо, зашёл он не только что: вокруг него образовалась натаившая лужица. Отец Василий виновато произнёс:

— А я вот зашёл тёмные одежды приготовить...

— Да! — спохватилась Люба. — Как хорошо, батюшка, что напомнили! — и она поспешила в кладовку перебирать покрывала для храма на время поста.

Потом, когда кончились уроки, пришла ребятня, собиравшаяся с дядей Федей в лес за хворостом, нужным для какой-то затеявшейся вечером игры. Люба так и не поняла — какой, но увязалась с ними и там ломала и собирала со всеми ветки. Да ещё полчаса туда, полчаса оттуда.

Домой обедать не пошла, вскипятила в храме чайник, поела оставшихся с воскресенья пирожков. Потом помогала дяде Феде расчищать площадку перед храмом, и когда уже стало смеркаться, и на приготовленной площадке стала собираться ребятня, Люба пошла домой.

Катерина сидела на своей кровати и держала в руках вязанье.

— Как ты? — спросила Люба и почувствовала неестественность голоса, будто он звучал веселее, бодрее, чем должен был звучать.

Мать подняла глаза, Люба не увидела в них ни укора, ни печали, а только понимание, почему её голос так обманчив.

— Прости меня, мамочка, — Люба подошла к матери и села рядом с ней на кровать, взяла мамину руку, та отложила вязанье и второй рукой прикрыла дочкину руку, и так они долго сидели молча. Стало темно. Со стороны храма доносились бурные вскрики, словно там собралась толпа фанатов, празднующих каждое удачное действие своей команды.

— Тебе страшно? — спросила Люба. И вопрос получился лёгким, как у людей, не обременённых никакой житейскою ношей.

И Катерина так же просто ответила:

— Нет.

Потом добавила:

— Может, и страшно. Я, когда из дома убегала, никакого страха не чувала, лишь бы с ним быть, а вдруг раз и похолодеет внутри: а как там?

А сейчас... Чего же страшиться, если, считай, всю жизнь к этому готовишься, а вдруг кольнёт: а приготовилась ли? Уходить не страшно. А вот там... Когда я еле до больницы дотащила тебя рожать, села у них на крыльце, ну, думаю, вот и хорошо: теперь уж разберутся. Я ж тогда ничего не знала, чего тут течёт, зачем это — никто мне ничего объяснял, — но сообразила, что в больницу надо, хотя срок-то вроде и не подошёл ещё. Тут как раз паренёк вышел в белом халате, может, практикант какой. “А вы чего, — говорит, — тут расселись?” “Я к вам”, — говорю. А самой жутко так стыдно, что вот одна, без мужа, а тут ещё паренёк-то больно молоденький и на “вы” ко мне, и в то же время хорошо уже, что сейчас меня возьмут, пожалеют и сделают всё как надо. “Ну, вставайте, — говорит, — раз к нам”. А я и встать-то не могу, плачу только. “Давайте помогу”. Поднял меня и так легко поднял, и повёл, а я сама удивляюсь, как это я так легко иду. Чего-то со мной делали, а я уже ничего не соображала, только понимала, что всё будет хорошо. Так вот тебя и родила. Вот и сейчас мне кажется, так будет: придёт какой-нибудь паренёк, может, тот же самый... Я ведь и не видела его больше... Может, практика закончилась...

И они опять долго молчали, и снова заговорила Катерина:

— Я думала, что простила, потому что постаралась забыть. Но вот говоришь себе: забыла, забыла, забыла, а получается, что как гвоздь вбиваешь себе в память. Не отпускает. Оказывается, постараться забыть не значит простить. И понять — тоже не значит простить. Прощаешь, когда принимаешь всё, как есть. Может что-то не нравиться. Или раздражать. Или вызывать отвращение. И, наверное, главное — понимать, что другой человек не может быть точно таким, каким хочешь видеть его ты. Главное — понимать, что не как я хочу, а как Богу угодно. Это и есть любовь. Бог же принимает нас такими, какие мы есть. А мы все разные, ой, какие мы разные... Но Он любит всех, даже тех, кто не идёт к Нему. Ты понимаешь, какая любовь! Человек не хочет идти к Богу, он даже слышать о Нём ничего не хочет, а Он всё равно любит. И вот всё это вроде понимаешь, умом-то понимаешь, а внутри сидит этот гвоздь и никуда не девается. Нет у меня такой любви. Сначала надо простить и, как говорится, не вменять в вину... А я только стараюсь забыть... И не могу... Его звали Дима. И фамилия очень простая — Кузнецов. Больше ничего не могу сказать. Все фотографии и несколько писем я выбросила. Если Богу будет угодно, может, и встретишь, но сама не ищи... Хотя... Я опять пытаюсь, чтобы было по-моему... Поступай, как сочтёшь нужным. Вот я сказала тебе всё...

— А бабушка?

— Что бабушка?

— Бабушка тоже была одна.

— Там другое. После смерти отца мама старалась удержать меня у себя и стала ограждать ото всех. И чем крепче становилась ограда, тем сильнее мне хотелось перепрыгнуть её. И при первой возможности я сделала это. Может, если бы не было этих оград, не было бы соблазна бежать. Хотя теперь как узнаешь... Мама меня так и не простила. И как теперь быть? Я не могу простить, меня простить не могут... Вот поэтому-то и страшно.

Люба крепко-крепко обняла Катерину и прошептала:

— Бедная моя мамочка... Я за тебя молюсь и за бабушку молюсь, и теперь за папу молиться буду. Господь добрый, Он всё знает, Он простит...

Катерина склонила голову на плечо дочери и заплакала.

33

В храме после службы Люба подошла к отцу Василию. Тот, кстати, ни разу больше в дом Любаевых не заходил, и Люба перестала бывать в батюшкином доме, у них установились отношения доброго начальника и исполнительницы подчинённой. Так оно и было: Люба заменила Катерину в храме. Только если раньше Катерина отвечала чуть ли не за всю приходскую жизнь, то сейчас у отца Василия помощников становилось больше, и Люба отвечала за порядок в храме и следила за службой на клиросе.

За тещу был теперь двенадцатилетний Саша Прохоров, он сразу выделился из среды мальчишек, и отец Василий относился к Саше ласково, даже что-то отцовское проглядывало в его отношении к мальчику, хотя отец Василий старательно это скрывал. А Саша платил ему искренней любовью, рос он без отца, мать после развала сельской жизни, когда не сказать, что жили в достатке, но всё-таки не бедствовали, как сейчас, начала пить и, как это часто случается с ранее не пьющими женщинами, быстро превратилась в алкоголичку. Саша невыносимо страдал, он и ненавидел материн грех, и жалел её. Однажды он пьяную ударил её, несильно, так, оттолкнул, она упала, он поднял её, оттащил на кровать, а потом плакал всю ночь. И тут появился отец Василий. Большой, добрый и... отзывчивый. Первый раз Саша увидел его, когда отец Василий шёл летом в сельсовет по каким-то делам в рясе и в широкополой армейской шляпе. Это впечатляло, особенно сочетание рясы и шляпы. Потом отец Василий приходил в школу на 1 сентября. Саша толком и не понял тогда, что говорил отец Василий, так как их класс стоял на дальнем конце линейки, но ему запомнились окладистая борода, которая казалась пушистой, и так хотелось потрогать и потереть её, и добрые глаза священника. В конце выступления батюшка пригласил всех в храм. Саша услышал и пришёл. Он стоял у церковного расшатавшегося заборчика и не решался войти во двор. Да и сама церковь его не особо интересовала, он ждал, что появится тот добрый большой человек, который сказал ему приходить. И он появился. Отец Василий шёл из дома в церковь. Батюшкин дом стоял рядом, и к храму вела другая калитка, сбоку, и батюшке совсем не обязательно было делать крюк к общему входу, но он заметил Сашу и подошёл к нему. Так началась их дружба.

За хозяйством следил дядя Федя, или, как теперь звала его Люба, Фёдор Иванович. Перестройка и его вышвырнула из привычного жизненного ритма. Оставшись без работы, он, как и большинство, шатался по селу в поисках хоть какого-нибудь заработка. В основном это были старушки, которым то надо было помочь в огороде, то что-нибудь починить в доме. Фёдор Иванович мог всё: хоть крышу крыть, хоть в телевизоре ковыряться, хоть картошку копать. Как-то он подлатывал забор у бабы Нины, и мимо проходил большой человек в широкополой шляпе. Фёдор Иванович знал, что это новый священник, но никаких дел до этого с церковью у него не было. Большой человек остановился и стал смотреть, как работает Фёдор Иванович. Это, конечно, начало раздражать.

— Ну, чего выгупился? — не выдержал Фёдор.

— Простите, под руку боялся сказать, — ответил большой человек.

— А паяться, стало быть, под руку можно?

— Виноват, правда, отвлекать не хотел, а так у меня разговор.

— Какой? — насторожился Фёдор, ибо в последнее время ничего хорошего от разговоров ждать не приходилось.

— Не могли бы вы и церкви забор поправить?

Фёдор повернулся к большому человеку и почесал в затылке.

— Можно, конечно, только ведь время выбрать, дел-то полно, тут столько обращаются...

— Жаль. — Прозвучало это с искренним сожалением, и собеседник сделал движение, чтобы идти своей дорогой и не мешать рабочему человеку.

— Э-э, — замахал рукой Фёдор и даже слотнул слону, словно мимо него только что пронесли кусок хлеба. — Для церкви-то всегда время найдём. — Он подумал и добавил: — Это ж для Бога. — И тут же пожалел о сказанном, потому что если для Бога, то с Бога брать плату представлялось делом постыдным, а совесть у Фёдора была, это он тут же и почувствовал.

— Вот это вы очень правильно сказали, — согласился отец Василий. — Приходите завтра. Прямо с утра, я часиков в восемь отслужу, и приступим.

На другой день они вместе работали часа три, причём у Фёдора ни разу не возникло желания покурить и вообще сделать перерыв, всё шло у них равномерно, спокойно, без напряжения и тем более крика. Само собой установилось, что главным в работе оказался Фёдор, а отец Василий — на подхвате.

Это ничуть батюшку не смущало, Фёдор отметил также его рукастость, ну, а силушкой, это и без того было видно, Бог отца Василия не обделил. Фёдор уж и забыл, когда он получал такое удовольствие от работы, разве когда только молодым пришёл в мастерские и всё было ново, и хотелось быть полезным. “А ведь действительно, — подумал Фёдор, — я так работу и воспринимал: тружусь на благо родины, на благо села, потому и стремился всем помочь — и ничего, весело жилось. Куда всё девалось?”

— Хорош, — сказал отец Василий, когда они докончили очередной участок. Снял шляпу и утёр со лба пот. Солнце, хоть и не летне-знойное, но припекало. Отец Василий огляделся. — Ого, молодцы мы с тобой, Фёдор. Этак мы за завтра и добьём это дело.

— А то, — согласился Фёдор и предложил: — Так ведь и сегодня ещё не вечер.

— Нет, — пресёк порыв отец Василий. — Мне вечером служить, — подумал и произнёс: — Так ведь и завтра с утра литургия.

— Так вот, как нынче, после службы...

— Не, сегодня я просто акафист с утренней читал, а завтра литургия, это, брат ты мой, настоящая служба. Завтра праздник Пророка Иоанна Предтечи. Усекновение главы.

— Чего? — не понял Фёдор.

— Был такой царь Ирод, а женился он на жене брата своего. А пророк Иоанн говорил ему: нельзя так, грех. За такие слова — правда-то, она грешному человеку, как нож к горлу, — люто невзлюбила Иродиада, так жену звали, Иоанна и добилась-таки, чтобы святому Иоанну Ирод повелел главу отсечь.

— В общем, всё из-за баб, — резюмировал Фёдор. — Только какой же это праздник, если ему голову отрубили? Тут, чай, плакать надо...

— А у нас, Фёдор, праздник всегда со слезами на глазах. А если серьёзно, то праздник в том, что смерти нет. Иоанн то, что должен был на земле, исполнил и к Богу ушёл. Вот и нам бы исполнить то, что должны...

— Так-то оно так, я бы, может, и с радостью, только как узнать то, что ты должен?

— Правильно мыслишь. Для начала это самая главная задача и есть. Но тут в общем-то всё Господь нам сказал: слушай да делай. На сегодня у нас задача была забор поправить. Так что мы, считай, обед заслужили. Пойдём.

— Пойдём, — согласился Фёдор.

Во время работы они перешли на “ты”, а обед их и вовсе породнил. Отец Василий поставил разогревать на плиту большую кастрюлю, сам быстро нарезал помидор с огурцами, поставил на стол и спросил:

— Будешь?

— Буду, — глядя на огурцы, откликнулся Фёдор.

И отец Василий поставил на стол две стопочки. Потом появилась бутылка настоящей городской водки, отец Василий открыл её и разлил. Фёдор было потянулся к близстоящей, но отец Василий остановил:

— Погоди. Для начала помолимся.

Он встал и оборотился к одной из висящих в углу икон. Бог с неё смотрел внимательно и строго. Отец Василий прочитал “Отче наш” и перекрестил стол.

— Вот теперь давай, — и сам принял стопочку, которая ушла в него, как в бездну. Захрумкили огурцами. — Так, Фёдор, — сничтожив огурец, произнёс отец Василий, — я больше уже не буду, а ты не стесняйся, — и пошёл к плите снимать кастрюлю. Потом принёс на стол две тарелки со щами и спросил:

— Чего ты?

— Да стрёмно как-то одному.

Батюшка помолчал, поглядел на поскучевшего Фёдора и сказал:

— Ладно, давай под горячее, но дальше — сам.

После обеда отец Василий ещё раз помолился, а Фёдор умильно смотрел на глядящего из угла Бога, и тот уже не казался таким строгим. Когда вышли на крыльцо, Фёдор предложил:

— А давай я завтра Петьку с собой прихвачу, а ты служи себе.
— Кто такой Петька?
— Да паренёк соседский, хороший паренёк, тоже мается без дела.
— Да! — спохватился отец Василий. — Дело! Подожди! — Он ушёл и вернулся с деньгами. — Вот, спасибо.

Фёдор замотал головой, будто ему предложили что-то не просто неприемлемое, а оскорбительное, он даже слова сказать не мог, настолько не мог взять деньги. А хотелось, потому как столько Фёдор давно в руках не держал.

— Нет, Фёдор, — отец Василий тыкал в него деньгами. — Как же? Всякий трудящийся достоин награды своей. Так ведь?

Фёдор продолжал мотать головой.

— Фёдор! — не отставал отец Василий, и тут вдруг его осенило: — Слушай! А давай я тебя на работу возьму.

Трясучка у Фёдора прекратилась, и тот остановил взгляд на священнике.

— А что? Будешь тут всё чинить-починять, руки у тебя золотые, а за храмом глаз нужен хозяйский, а я ж, понимаешь, в этих делах ни в зуб ногой. А? Соглашайся.

— А Петьку?

— А он наш человек? — спросил отец Василий.

— Наш, — с жаром ответил Фёдор. — Вот те крест! — и в самом деле перекрестился.

— Ладно, давай с Петром мы подумаем ещё, а это тебе аванс, — и он всунул-таки деньги в нагрудный карман Фединой рубашки.

С тех пор Фёдор и стал при храме чем-то вроде завхоза, а также дворника, сторожа — и вообще всего, где требовалась мужская работа.

34

Отец Василий, весь масляный и улыбочивый, как и вся неделя, сначала не понял, о чём говорит Люба, потом вздохнул, словно мальчик, которого мама позвала домой в самый разгар увлекательной игры.

— А сама она ничего не говорила? — спросил он, будто выгадывая ещё время, за которое может что-то измениться.

— Она и не скажет.

Отец Василий смотрел в угол храма и тщательно пережёвывал то, что собирался сказать.

— Она ведь запретила мне переступить порог вашего дома, а я слово дал.

— Теперь в этом нет необходимости, — спокойно произнесла Люба.

— В чём?

— Больше нет поводов. И не будет.

Отец Василий посмотрел на Любу: ни капли смущения не мелькнуло на её лице. “Порода”, — подумал отец Василий и вздохнул:

— В конце концов, я могу порог и не переступить: залезу через окно.

Люба впервые за долгое время улыбнулась:

— Нет уж, давайте по-человечески. Да и окна жалко...

— Разве что на блины... — согласился отец Василий.

Вечером он шумно подошёл к крыльцу, нарочито громко постучал и ввалился в дом, отфыркиваясь и отряхиваясь, будто на дворе мело и сыпало снегом, во всех его движениях чувствовалась неловкость и неуверенность.

— Мир дому сему, — сказал батюшка.

— С миром принимаем, — донеслось от кровати, на которой отец Василий разглядел прибранную, как на праздник, и, видимо, поэтому тоже чувствующую неловкость старушку.

— Здравствуйте, — всё ещё не узнавая, произнёс батюшка.

Катерина поднялась с кровати, её чуть качнуло, но тут же поддержала Люба, помогла дойти до стола и посадила на стул. Та попыталась встать, но отец Василий замахал руками:

— Сидите, сидите, — подошёл и благословил Катерину.

Она уловила благословившую руку, поцеловала и посмотрела на отца Василия влажными и светлыми глазами.

— Вот какая я стала, — словно извиняясь, произнесла она.

Отец Василий всё никак не мог поверить, что это Катерина: маленькая и сухонькая старушонка сидела перед ним, ничего из прежней, крепкой и волевой Катерины не угадывалось в председательских мощах, даже глаза, прожигавшие раньше насквозь, словно рентген, теперь лучились совсем иным светом, вся натура, будто сбросив сковывающий кокон, стала открыта и проста.

И отец Василий вдруг поразился сам своей догадке: это уже не есть собственно Катерина, что та Катерина, которую он знал, уже умерла, а это её душа, и вот он пришёл и разговаривает с духом. Разум отца Василия запротестовал, возмутился, но никак не мог побороть этого откровения, и какие бы аргументы ни приходили на ум, всё виделась отцу Василию душа ушедшей из этого мира женщины.

— Как же так... — вырвалось у него.

— Так вот, — подтвердила душа Катерины. — Жила-жила, да и кончилась.

Отец Василий тряхнул головой, словно пытался освободиться от охватившей мысли, но та сидела крепко.

— Давайте чаю, — предложила Люба. — С блинами.

И отец Василий снова тряхнул головой, на этот раз согласно, и Люба пошла ставить чайник.

— Вы, говорят, батюшка, всё село на Масленицу организовали? — то ли спросила, то ли похвалила Катерина. Тот опять мотнул головой, что на этот раз, видимо, означало: мол, не всё, но уж сколько есть. — Это хорошо, — одобрила Катерина. — Теперь у людей только церковь и осталась. Берегите её. И людей берегите. Они церковь и есть.

35

После майских праздников к дому Сапрыкиных подкатил зелёный “уазик” с поперечной белой полосой и красным крестом на лбу. Оттуда вышли два санитары и помогли спуститься из “уазика” человеку в военной форме. Потом ему передали костыли, военный опёрся на них и неумело поковылял к дому. Одной ноги у военного не было. То, что это мог быть Витька, никому и в голову прийти не могло. Его никто и не ждал раньше осени. Но это был Витька.

То, что Витька Сапрыкин попал в десантники, в селе знали. О самой службе он особо не распространялся. Да и письма присылал редко, и был в них немногословен. Но по некоторым оговоркам соседи, с которыми мать Витьки делилась прочитанным, догадывались, что тот после учебки угодил в Чечню, но матери о догадках не говорили, а только, глядя в сторону, подбадривали: ничего, мол, он у тебя герой. Да и некогда стало за других переживать: свои проблемы так пригнули, что побоку стало, что там у соседа, в стране, окружающем мире — какое дело до какой-то далёкой Чечни, где она вообще?

Тут сеяться нечем. Горючки вообще нет. Деньги — редкость, и разменной валютой стал самогон. Казалось, всё замерло в тревожном ожидании, словно должно было вот-вот состояться важное определение, и сразу станет ясно, что делать и как жить дальше. Как вердикт у постели тяжелобольного: выживет, не выживет. Но решения никто не сообщил, либо его просто не существовало. Горючку никто не вёз, семян — тоже.

Но пугала больше не всё яснее ощущаемая нищета, куда скатывалось село, в конце концов, и голод в тридцатые пережили, и войну, а то, что исчезало самое главное, что связывало людей в одну общность, и это главное нельзя было удержать в руках, как нельзя удержать тающий мартовский снег.

Люди, словно замороженные, наблюдали за грозной и неумолимо надвигающейся катастрофой. Молодёжь, словно с тонущего корабля, бежала в город. Но там был только шум, заглушавший надвигающийся рокот. В городе творилось собственное безумие: если в селе денег почти не было, то в городе их количество росло с каждым днём, и с каждым часом на них всё меньше

и меньше можно было что-нибудь купить. И только — деньги, деньги, деньги... В их хрустящей круговерти всё больше слышался шум крыльев саранчи, покрывающей пространство...

Село тем временем стало разделяться на администраторов, тепличников, пенсионеров и алкашей. Собственно крестьян, работающих на земле, совсем не осталось. Особую касту составили тепличники. Дело в том, что не у всех получалось с теплицами. Выяснилось, что теплицы надо не просто грамотно поставить, так ведь ещё пахать в них приходилось чуть не круглые сутки. А потом ещё везти товар в город, а там и на рынке просто так не встанешь, нужно места знать, нужно уметь договариваться, торговать, в конце концов, нужно уметь, а это для многих оказалось гораздо сложнее, чем пахать чуть не круглые сутки. Среди тепличников стали выделяться свои помидорные царьки, а больше королевны. У них завелись кое-какие деньжата, и они могли позволить себе нанимать на подённую работу алкашей. При деньгах была и административная каста. Не при таких, конечно, как тепличники, поэтому всячески старалась им напакостить или содрать чего-нибудь в сельский бюджет, который до села так и не доходил. Тепличники платили той же не любовью, но по ещё не до конца искоренившейся традиции властей побаивались и терпели администрацию как необходимое зло. Самыми же денежными на селе неожиданно оказались пенсионеры. И даже тех скудных грошей хватало бы на самое необходимое, если бы пенсию тут же не вытягивали дети и внуки, относившиеся практически все к разряду алкашей, включая не только мужиков, но и женщин, и их детей, которые, разумеется, не пили, но в силу причастности к отцам и матерям сразу же по рождении зачислялись в этот разряд. Алкаши с утра шатались по селу в поисках приработка или чего плохо лежащего, брались за любую работу: хоть сарай от навоза выгрести, хоть ящики с помидорами загрузить — всё едино: за пузырь. Про заводскую водку давно забыли: все гнали самогон, количество и качество которого обуславливалось возможностями достать сахар. Тут преимущество за тем, кто так или иначе имел связь с администрацией. Все ненавидели всех, и чем дальше, тем больше село распадалось на мелкие группки. Пожалуй, только в церкви все стояли вместе. Но и то в церковь ходили в основном пенсионеры, остальные появлялись нечасто. Одни оправдывались загруженностью в администрации, другие ссылались на народные предрассудки, третьи просто не успевали похмелиться. Да, оставались ещё учителя, пара врачей и библиотекарь — эти вообще непонятно, что на селе делали. “Лишние люди”, — как говорила старая учительница русского языка и литературы Анастасия Павловна. Но ей хорошо рассуждать: у неё-то пенсия имелась.

В общем, всем было не до Витьки. Каждый прятался в своём мирке и укрывал его от других. Сначала, конечно, любопытствовали про Чечню, поохали про оторванную ногу, покачали головами, а кто-то, узнав, что по инвалидности Витьке назначена пенсия, вздохнул: “Вот сvezло-то...” И никто не одёрнул вздохнувшего.

Витька быстро влился в круг алкашей, а вскоре и из него выпал. Алкаши хоть с утра то помогали пенсионерам в огороде, то нанимались к тепличникам, а то и в администрации выпадала необходимость осваивать спущенные сверху копейки, которых хватало разве что на покраску входной сельсоветовской двери, а Витька пил не просыхая. Он стал быстро хмелеть, поначалу его ещё подбিরали и провожали до дома, но скоро махнули рукой, и он валялся под каким-нибудь забором и смотрел на проходящих мутными глазами.

36

Весь день Люба собирала на огороде невесть откуда взявшегося гадкого жука, а вечером пошла проведать одну из прихожанок на другом порядке села. Потом зашла ещё к одной, потом ещё... Эти вечерние обходы вошли в привычку, она даже говорила, что так отдыхает от огорода. Она заходила к больным и одиноким. В основном это были бабушки прихода, брошенные укатившей в город молодёжью. Ничего особого Люба не делала, ну, приберётся малость в доме, воду принесёт, узнает, какие лекарства нужны.

Лекарства привозил из города отец Василий. Он ездил за свечами, маслом, а также набирал по возможности необходимое, чего на селе было не достать. Так у них в храме сложилась своя аптечка и небольшая библиотека из дешёвых брошюрок.

Люба возвращалась домой, когда уже воздух густел от сумерек, и услышала:

— А, явилась, сука!

Люба вздрогнула, остановилась, прислушалась, но было по-вечернему тихо, она подумала, что почудилось, и, осмелев, обернулась. Под забором лежала неясная тёмная куча и слегка колыхалась. Приглядевшись, Люба догадалась, что это человек. Она шагнула к нему и замерла, поняв, что эта куча, от которой несло не то перегаром, не то навозом, не то затхлостью и гниением, а скорее всем вместе, — Витька. Нет, она не могла признать его по внешнему облику, она почувствовала, что это именно он, и в ужасе закрыла лицо руками.

— Что, узнала... А? Как тебе? Не прячься, смотри на гер-роя!

Люба отняла от лица руки и посмотрела на Витьку.

— Где твои молитвы, а? — шипело из кучи. — Молиться обещала — вот твои молитвы.

Люба хотела сказать: “Я молилась”, — но вместо этого стоном вырвалось:

— Господи, как же это...

Да, она молилась. Каждый вечер поминала раба Божия Виктора, перебирая всё разбухающую книжечку с записками, она и обедни заказывала, и молебны, но... не было ни переживаний, ни боли, ни слёз... общим списком...

— Как же это... — повторила она.

— Так вот, — зло ответил Витька. — Все вы тут твари. Каждый только о себе, — и тут он начал так отборно и страшно ругаться, что Любе стало нехорошо, она не выдержала и, зажав руками уши, отвернулась.

Что-то больно ударило в плечо, она еле удержалась, чтобы не упасть, покачнувшись, выпрямилась и посмотрела на Витьку, тот, сморщившись, плакал, а у её ног валялся ударивший в плечо костыль.

— Ты что, Витька? — сказала Люба и шагнула. — Ну, перестань, перестань, что ты расплакался, как маленький, ты ж герой. Живой — и слава Богу. Давай, давай, поднимайся, пойдём... Экий ты тяжёлый какой, я тебя так не донесу, ты давай помогай мне. Давай вот палку твою поднимем, держи палку-то и за меня держись, давай о плечо, ну вот, видишь, молодец... Теперь пошли, шагай потихонечку, потихонечку-полегонечку, так... Сейчас дойдём, а хочешь, я тебе баньку сделаю. Чайку потом... Давай, давай, недалеко уже, давай ещё шажок, и я с тобой шажок, вот как у нас ловко, вместе-то оно всегда ловчее, да ты держись, держись крепче...

Они ковыляли по селу почти час. Витька поначалу ещё всхлипывал, а потом начал помогать костылём, Люба, обхватив Витьку за пояс, волокла его, словно огромных размеров чурку. Уже в темноте они опустили на крыльцо Любиного дома и просидели минут десять, и казалось, никто ни о чём не думает, просто сидели и отдыхали от долгого пути. Наконец Люба поднялась.

— Сиди пока, сейчас баней займусь... Топить-то уж не буду, нагрею... Хотя ладно, чего уж: баня так баня... — и она пошла к поленнице, а Витька остался сидеть, привалившись к перилам и глядя на небо, где появились первые звёзды...

37

Рождества, после прошлогодней феерии, всё село ждало с нетерпением. Даже Новый год проскочил, как холодная закуска, все ждала горячего. И отец Василий не подкачал: даже фейерверк был. Пусть взлетела всего одна ракета, но все смотрели заворожённо: у одних по-детски приоткрылись рты, у других старчески заблестели глаза. Сначала раздалось напугавшее шипение, а затем на тёмном небе вспыхнул разноцветными искрами переливающийся шар,

из которого родилась белая звезда, и она долго и загадочно мерцала, опускаясь на землю.

Удивительно, но если первый всплеск встретили шумно и с криками, то, когда звезда опустилась на землю где-то за Власьевым пупом, притихли все, даже ребягня. Чувствовалась в этом некая тайна. Умом-то понималось: всего лишь ракета, а вот поди ж ты, хоть беги на этот Власьев пуп и смотри, что там.

И тут раздалось:

— Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!

Это отец Василий возгласил. И тут же несколько голосов подхватило:

— Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!

А потом уже разнеслось на всю округу дружное многоголосье:

— Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!

С тем уже и расходиться стали, как отец Василий громогласно объявил:

— В воскресенье служба в девять, а по окончании будут венчаться рабы Божии Виктор и Любовь. Всех приглашаем на богослужение.

Вообще-то Виктор и Люба устраивать нечто особенное из своей свадьбы не собирались. Они тихо подали перед постом заявление в сельсовет, там немного удивились, но жизнь отдельного односельчанина могла теперь взволновать в крайних обстоятельствах. А если что и удивило в сельсовете, так это трезвый Витька, к тому же он был при параде, то есть экипированный в десантную форму, а на левой стороне у него блестела медаль. Люба выглядела обычно: скромно и безукоризненно. В конце декабря им поставили штампы в паспортах и выдали свидетельство о браке. Венчаться решили сразу же после Рождества и тоже не думали ни о каких торжествах, так как венчание представлялось только их праздником. Однако вышло так, что оно обрело вселенский масштаб, если, конечно, считать вселенной территорию сельсовета... Впрочем, для многих так оно и было. Разве что в город иногда выбирались тепличники да администрация, но город — это уже другая вселенная...

К тому же после чудесного Рождества всем хотелось продолжения праздника, и тут венчание оказалось весьма кстати. И не просто венчание, а венчание старосты всё больше оказывающегося в центре внимания села храма и героя-инвалида чеченской войны, у которого даже оказалась медаль. И потом, для многих оставалось загадкой, как это Люба решила выйти замуж за почти, считай, уже пропащего алкаша? Что это? Кто говорил, что любовь зла, кто говорил, что Витька, крестившись, стал другим, но толком никто ничего сказать не мог. Старушки его видели несколько раз в храме: сначала он сидел в углу на мягком стульчике, который Люба специально принесла из дома, потом стоял, присаживаясь только на шестопсалмие и часы. В общем, любопытство тоже сыграло свою роль, и в воскресенье храм пусть и не был так переполнен, как на Рождество, но народу собралось изрядно.

И все были такие радостные. Опять же трудно было вспомнить, когда столько радостных лиц разом можно было увидеть на селе. Разве что в советское время, когда после сдачи урожая наступал момент предвкушения передышки от тяжёлой, но хорошо сделанной работы. Момент длился недолго, ибо наступала сама передышка, которая обычно превращалась в загул того же вселенского масштаба, и никакие законы и постановления не могли предотвратить его. Да и само советское время, казалось, уже было так давно, словно в другой жизни...

Теперь же наступала совсем другая жизнь, грозящая нищетой и разорением, и вот в ней прорезалось нечто, что давало надежду и обещало будущее, которое не представлялось теперь таким уж безнадежным.

Конечно, дети сельчан женились и выходили замуж, но всё это уже случилось в городе, и если молодожёны приезжали к родителям, то широких празднеств не устраивалось, а тут... Сами лица венчающихся светились. Особенно поражал Витька, он очень строго и подтянуто смотрелся в невесте откуда взявшемся костюме, и в то же время сквозь серьёзную мужественность проступала притягивающая мягкость, и казалось, Виктор готов обнять

и расцеловать каждого. Пожалуй, ему даже завидовали, потому что слышалось: “Вот уж повезло...” И на этот раз в виду имелась не пенсия за отнятую ногу, а радость, которая давалась не каждому. Про ногу-то, кстати, не говорили, не потому что неловко напоминать о калечности, а потому, что её не замечали. Не виделось в Викторе никакой увечности, он предстоял цельный и счастливый, словно таким и должен быть человек. Люба казалась отрешённой, но и в ней жила радость. Только она, в отличие от бурлящей радости Виктора, была тиха и полноводна, и не давала усомниться в том, что радость эта есть и она непреходяща.

Потом все высыпали на улицу, где в ледовом городке детвора устроила снежный штурм, а когда городок был взят, Виктор поздравил всех — и победивших, и отчаянно отбивавшихся, сказал про защитников Отечества и позвал всех к столам, накрытым в храме. Всех небольшой храм вместить не смог — пришлось делать два захода. И так получилось, что сначала усадили тех, кто в храме появлялся редко, и вот что удивительно: никто почти не притрагивался к спиртному. Мужики налегали на закуску, а потом перебрались в дом отца Василия, где распорядился Фёдор. Впрочем, пьяных и там не было.

А тут Петька подкатил к храму на заранее приготовленной кобыле Стешке с невестой откуда добытым допотопным возком, украшенным лентами и бумажными цветами. Молодые сели в возок и покатали по селу. И пусть это была не тройка, да и Стешка трусила в меру старческих сил и возможностей, но зато объехали всё село и до каждого дома достиг праздничный звон больших бубенцов, тоже невеста как сохранившихся с допотопных времён.

За сим молодых отпустили.

— Давненько так не гуляли! — подвёл черту Данилыч. И добавил, вытирая бороду: — Хорошо!

38

Однако святочные события на этом не закончились. В канун Крещения к храму подкатил мощный джип, больше похожий на уменьшенную копию боевой машины, из него высадились трое и направились к церкви. Оттуда, видимо, предупреждённый, вышел отец Василий и заторопился навстречу гостям.

Среди них выделялся высокий, плотный мужчина, на немного одутловатом лице которого красовались большие вислые усы, которые делали его похожим на Тараса Бульбу. Ещё на мужчине была невиданная на селе обувь, высокая и мехом наружу, кажется, такую называют унты. Двое других держались в тени предполагаемого “Тараса” и не отложились в народной памяти.

“Тарас Бульба” и отец Василий сошлись, приезжий склонил голову, и отец Василий благословил, после чего они троекратно облобызались, а после батюшка благословил и двух сопровождавших, а затем пригласил троицу в храм. Там они пробыли недолго и отправились в дом к отцу Василию. Отец Василий и “Тарас Бульба” сразу, а двое других вернулись к машине и, достав несколько коробок, проследовали туда же.

Все они остались на службу. Отец Василий же Крещенскую службу служил в ночь, получалось настоящее всенощное бдение, длинное и торжественное. Вновь прибывшие добросовестно отстояли почти четыре часа, расположившись справа от аналоя, вокруг них даже образовалось небольшое пространство, словно отделяя их от сельских, но в общем-то крестились они правильно, кланялись вовремя и никаких нарушений Православия, как ни наблюдали опытные прихожанки, за ними углядеть не удалось. Стало быть, свои, решило общество.

И когда отец Василий перед крестным ходом вручил икону Спасителя “Тарасу Бульбе”, а хоругви — сопровождавшим его, никто не возмущился. Ещё несколько икон поручили достойным до конца мужчинам и, запев “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас”, — отправились на иордань. Тут приезжие удивили: все трое после молебна отправились за перегородку,

а после бодро направились к купели. Впрочем, первым в Иордань вошёл отец Василий и после трёхразового погружения выскочил из воды немножко ошалевший, но довольный. Его тут же укутали в простыню.

— Ну, давай, Георгич! — сказал отец Василий, так все узнали, что у “Тараса Бульбы” отчество — Георгиевич.

Тот широко перекрестился и не спеша сошёл в крещенские воды. Там степенно трижды окунулся, каждый раз не забывая креститься, и после так же неспешно поднялся на мостки и снова перекрестился. А потом широко улыбнулся, раздвинул руки, словно хотел всех обнять, и в замершем воздухе раздалось:

— Ух, хар-рашо! Ну, кто против нас!

Тут его совсем зауважали и тоже протянули простыню.

— Генерал, может, какой, — предположил Данилыч, который, конечно, лезть в иордань не собирался, но службу стоял со всеми, а теперь чаял угощения, которое расставлялось в храме.

Двое сопровождавших Георгича молодцов тоже окунулись достойно, а потом уж пошли сельские. Шуму прибавилось, в купель ходило с десяток мужиков, но веселились в основном окружающие. А дальше уж веселье не прекращалось: ни когда шли обратно, ни за столом. А как же — праздник!

Гости уехали только после обеда. Утром, как договаривались в конце трапезы, к дому отца Василия подошли Фёдор и Виктор. Гости уже пили чай, чем ещё раз удивили: мужики рассчитывали, что позвали их за другим. Но и им предложили чаю. Потом все отправились к храму, обошли его и всё больше изучали пространство от храма до оврага и в сам овраг заглянули. И, судя по всему, овраг восторга у них не вызывал.

— Очень непросто, — сказал один из двоих молодцов.

— Нет таких задач, которых десант не решает, — ответил Георгич. — Отобедаем, а там думать будем.

Потопали в дом к отцу Василию. И вот обед Фёдора вполне удовлетворил, хотя насчёт задач, которые надо будет решать, он так толком и не понял. А Виктор, когда доковылял до дома, только и смог вымолвить:

— Эт-т настоящий человек... — и рухнул на Любины руки.

39

Настоящий человек на броневичке появился перед Благовещением, когда снег оставался только в глубоких оврагах, а ещё праздная земля вбирала весеннее тепло, уверенно и всем существом, как дышат подводники после долгого погружения. На этот раз с ним приехали ещё люди на двух машинах. Снова все ходили и мерили место за храмом и вдоль оврага. Отец Василий стоял рядом, но выглядел несколько ошеломлённо, словно перед ним распахнулась кладовая с невероятными возможностями, но надо было удержаться и взять только то, что нужно. Как в сказке.

Потом гости снова достали из машин несколько коробок, из которых по всей округе раздался отчаянный запах нездешней рыбы, и отнесли в дом к отцу Василию. Отобедав постными щами и картошкой с грибами, делегация отбыла. Большую кастрюлю щей Люба сварила ещё с вечера, когда отец Василий сообщил, что будут важные люди, а картошки нажарила аж две сковородки. Умяли всё. Прибравшись после трапезы, Люба вышла из дома отца Василия и застала того стоящим на крыльце и смотрящим в заовражную даль умилительно влажным взором, словно тот достиг третьего неба и услаждался им.

Люба посмотрела в ту сторону, но ничего, кроме чистого синего неба, не увидела. Впрочем, небо было прекрасно, оно, как и вся природа, оттаивало после зимы и набирало цвет. Пока краски ещё не достигли летнего насыщения, синева только предугадывалась, но сама эта чудесная прозрачность и открытость неба притягивали и обещали радость, какую и представить нельзя.

— Представляешь, Люба... — Люба вздрогнула: она никак не могла предположить, что отец Василий заметил её, тем более что он всё так же

продолжал смотреть непонятно куда. — Там у нас будет трапезная. Большая. Можно будет сразу накормить человек пятьдесят. А потом раз — и тут же можно будет кино показывать. Сейчас такая штука появилась — видеоманитофон. Наберём хороших фильмов и будем показывать. Ещё библиотеку нормальную сделаем. Анастасию Павловну библиотекарем возьмём. Да... А кино Петя будет заниматься. Он паренёк сообразительный. А на втором этаже будет несколько комнат. Там и гостям можно будет переночевать, и жить, если что... Так вот...

Любе показалось, что где-то она это слышала, нет, читала, и вспомнились уроки литературы, вот ведь и про школу уж давно забыла, а тут вылезло откуда-то, и она невольно улыбнулась.

— Не веришь? — немножко обиделся отец Василий, Люба спрятала улыбку, а отец Василий опустил глаза. — Да я и сам не верю. Слишком уж всё фантастично как-то. Но знаешь, Люба, надо делать. Одно — мечтать и языком молотить, а другое — дело делать, — отец Василий посмотрел на Любу, та всё-таки не удержалась и снова улыбнулась. Отец Василий задумался и добавил: — Ну, и молиться, конечно.

А после Пасхи к храму стали привозить доски, кирпич, щебёнку — всё это сваливалось кучами, обступившими храм, к которому и пройти стало тяжело, прихожане, особо пожилые, возроптали, и отец Василий, сам, казалось, не верящий в происходящее, разъяснил происходящее и закончил проповедь словами:

— Нужны рабочие руки. И молитва. Кто может посылно работать — трудись, кто не может — молись. Так, трудом и молитвой, всё сможем.

Рабочие руки нашлись тут же и скоро по размеченным кольшкам выкопали котлован. Дальше случилось вообще невиданное: из города приехала настоящая бетономешалка и машина с будкой, на которой было написано “Спецстрой”. Оттуда вышли сурового вида мужики в оранжевых куртках и за день залили фундамент. Так же молча загрузились и уехали. И бетономешалку увезли. Перед отъездом к отцу Василию подошёл коренастый человек, ранее представившийся как Пётр, и сообщил:

— Послезавтра начнём класть кирпич. Нужны люди.

У отца Василия чуть было не вырвалось: “Есть!” — но он покосился на стоящего рядом Фёдора и в тон спросил:

— Сколько?

— Пять-шесть, желательно с опытом.

Отец Василий снова посмотрел на Фёдора:

— Найдём, — ответил тот. — У нас мужики всё могут.

Пётр кивнул и впрыгнул в спецстроевскую будку.

40

Ладно кирпичная кладка, так ведь проблемы начались с водопроводом, проведением света, а ведь ещё надо было укреплять овраг, и тут администрация села упёрлась, словно овраг был такой же достопримечательностью села, как Эйфелева башня для Парижа. Батюшка поначалу отшучивался, мол, церковь отделена от государства, и вообще, укрепляя овраг, они благое дело делают, но ему объяснили, что церковь отделена духовно, но материально никуда с территории государства не девалась, а каждый кирпич, как известно, подлежит учёту и контролю. Тем более когда вмешиваются в мать-природу да ещё требуют водоотведения и дополнительного электропитания.

А тут ещё поползли слухи, что дом за церковью строят бандюки, чтобы отлёживаться там после убийств и грабежей: и от города далеко, и грехи заодно замолить можно. В общем, у Христа за пазухой и со всеми удобствами. Вообще быстрота, с которой возводился дом, возмущала многих. Это когда вся страна катится невесть куда! Если уж деньги девать некуда, лучше бы школу отремонтировали. Вслух в основном возмущались тепличники, а администрация прислала налогового инспектора. И, конечно, он всё арестовал, потому что отец Василий ничего внятно объяснить не мог, какие-то бумаги у него были свалены кучей дома, но никакому порядку, а тем более учёту не подвергались.

Дело вдруг неожиданно накалилось, потому как другая часть села стала за стройку горой, ибо стройка оказалась чуть ли не единственным местом, где не только давали работу, но и исправно платили. Отец Василий, правда, категорически отказался расплачиваться самогоном, но уже в первые дни оплата труда была конвертируема согласно сельской валюте, и дальше курс строго придерживался стоимости литра самогона у тёти Вари.

Начались стихийные недовольства властью, подогреваемые, кстати, той же тётей Варей, но администрация обвинила в разжигании антигосударственных настроений отца Василия и пригрозила привлечь к ответственности, вплоть до уголовной.

Неожиданно появился Георгич на своём броневичке, и все увидели, что он действительно генерал. Форма не просто украшала его, а как бы точно выражала суть человека, являясь его частью, как загрубевшая кожа рабочего человека. В сельсовете он пробыл недолго, а затем отправился к отцу Василию, который нетерпеливо поджидал генерала у входа притихшей стройки. За ним, сидя на штабелях досок, поглядывали Фёдор, Виктор, чертивший что-то костью на земле, и несколько опустивших руки мужиков.

Разговор, видать, получился не самый приятный: отец Василий молчал с виноватым видом, а генерал втолковывал элементарные вещи, которые в любом случае соблюдать надо. Ибо мы пока ещё тут, а не там. На этом генерал задумался, спросил благословения и, не посетив домика отца Василия, уехал. Батюшка с печальным ликом пошёл в сторону мужиков. Так и хотелось спросить: “Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил?” — но Фёдор за всех выдал краткое:

— Ну?

На что отец Василий обречённо махнул рукой:

— Бухгалтера надо искать.

Народ переглянулся:

— А чё искать? — сказал один из мужиков. — Вон Нинка у меня бухгалтер.

— Настоящий бухгалтер нужен, — вздохнул отец Василий.

— Так она и есть настоящий, она на ферме, пока ту не закрыли, бухгалтером и работала.

— Не бухгалтером, а учётчиком, — уточнил другой мужик.

— А какая хрен, простите, батюшка, разница? — возмутился первый.

— А такая! Там она коров считала, а тут бумаги!

Опять возникла пауза, потом тот же мужик, как бы в сторону и не по делу, произнёс:

— Зато она в церковь ходит.

— Это с каких пор-то?

— А как ферму закрыли, так и стала ходить, — и ещё через паузу добавил: — А тёща вообще всегда ходила.

Отец Василий всё пытался что-то сообразить, но башка, ещё не отошедшая от разговора с генералом, была расплющена, словно печень после неравного поединка. И так вдруг захотелось бросить всё, на кой ему эта стройка, сидел бы себе молился, так ведь радовался, когда попал в это дальнее село, всё стремился подальше, а тут...

Отец Василий посмотрел внимательно на мужиков и вздохнул:

— Давай, зови Нинку.

На следующий день появился Пётр и сказал, что будут укреплять овраг, и спросил:

— Есть ещё люди?

— Есть, — уверенно ответил отец Василий.

41

Церковь мало-помалу обрастала не просто прихожанами, но и служащими из числа тех же самых прихожан, отторгнутых мирской жизнью, но весьма пригодившихся церковной. Та же Нина Петровна, например, оказалась женщиной весьма сметливой и по-бухгалтерски строгой: каждую церковную

копейку она воспринимала как свою личную, и даже отец Василий нет-нет, да и просил Любу поговорить насчёт тех или иных непредсказуемых денежных трат с Ниной.

— Ты со всеми ладишь, — говорил батюшка, — а у меня перед бумагами и их бухгалтерами страх. С детства.

Фёдор, тот уже не просто завхозом стал, а, можно сказать, хозяином двора. Батюшка, бывало, спросит:

— Чего у тебя лопаты под стеной валяются?

— Так завтра опять утром доставать, что ли? Чего их туда-сюда таскать? — и смотрит уверенно, мол, так и должно быть.

А что тут возразишь? Пройдёт отец Василий мимо. А минут через пять Люба появляется.

— Фёдор Николаевич, завтра праздник, люди пойдут...

— Да убираю я, убираю...

Данилыч в сторожа напросился.

— Смотри, отец, — говорит как-то, — хозяйство у тебя разрастается, а народ-то лучше не становится. Даже, я бы сказал, наоборот: что бедность, что богатство — всё в грех толкают.

Когда стройка ход набирала, решили, что повар нужен. Так появилась баба Маша. Она ещё в советские времена на полевых станах кашеварила, так что тоже к месту пришлась. Да и так, по мелочи: то одно надо было справиться, то другое, и каждый раз отца Василия чуть не в озноб бросало: где же денег-то взять? Но чудо: деньги всякий раз находились. Однако настиг всё же момент: всё вывели подчистую, нечем платить, хоть рясу продавай.

— Так подождут мужики, чего уж, — успокоил Фёдор. — Не впервой, чать.

— Вот именно, — ещё больше посуровел отец Василий. — Не можем мы поступать, как все. У нас должно быть да — да, нет — нет. Раз я обещал, я должен сделать.

Фёдор подумал и ещё предложил:

— А может, того, чуть снизить.

— Чего снизить? — не понял отец Василий.

— Ну, по деньгам, ничего, потерпим... — и осёкся, потому что отец Василий так посмотрел на него, что Фёдор счел за лучшее исчезнуть на двор и переложить развалившуюся складку досок.

Вечером пришёл Виктор и попросил благословения съездить в город и переговорить со старым знакомцем.

— А что за человек? — поинтересовался отец Василий.

— Одноклассник, — уклончиво ответил Виктор. — Говорят, хорошо поднялся.

— И на чём же поднялся? — В голосе отца Василия почувствовалась напряжённость.

— А вот это и узнаем, — ответил Виктор. — Да не переживай, отец: за спрос денег не берут.

— Один поедешь?

— Одному проще.

— Ну, с Богом.

42

Автобус в город ходил дважды. Утренний отправлялся в шесть, на нём Витька, одетый в свадебный костюм, и отбыл. Никого это особо не удивило: мало ли какие дела могут быть в городе, может, в военкомат поехал хлопотать или ещё чего. Вечерний автобус возвращался ближе к восьми, и вот то, что парадно одетого Витьки в нём не оказалось, уже без внимания не осталось. Особо наблюдательные тут же обратили внимание, что и Любы не было среди встречающих, то есть, получалось, она и не ждала своего инвалида. Это уже был повод для разговоров, только пока непонятно каких.

Люба же в наступающих сумерках всё не уходила с огорода, то что-то поправляя, то выдёргивая, то ковыряла землю лопатой, то брала грабли

и проходила с ними между грядками; за этими, словно не имеющими значения, действиями она не заметила, как появился отец Василий. Тот помялся невдалеке, потом всё же решился подойти, но и тут Люба продолжала отрешённо копошиться в огороде.

— Бог в помощь! — обратил на себя внимание отец Василий.

— Спаси Господи, — ответила Люба глухим, словно откуда издалека, голосом.

И в открывшейся тишине отец Василий почувствовал, что он что-то нарушил. Происходило нечто, а он вдруг неловко задел эту тишину, и та слегка покачнулась, как люстра, которую нечаянно заденешь. И что теперь делать?

— Нда, — виновато произнёс отец Василий и добавил: — Темнеет...

— Да... — отозвалась Люба, опустила глаза, увидела лопату в руках и после паузы предложила: — Пойдёмте в дом?

— Да нет, — отец Василий продолжал себя чувствовать неловко, как человек, случайно заставший нечто, его не касающееся, и теперь не знающий, как выбраться из щекотливого положения. — Я ведь просто зашёл узнать... Виктор-то не приехал?

— Нет, — ответила Люба.

— Нда, — снова озадаченно произнёс отец Василий. — Что ж делать-то?

— Всё будет хорошо, — спокойно ответила Люба и снова, взяв грабли, принялась возить ими по грядкам.

Отец Василий постоял, словно чувствуя, как тишина возвращается и теперь, касаясь своей волной, успокаивает его. “Действительно, — подумал он. — Всё будет хорошо. Господь управит. Молиться надо, — и тут его пронзило: — Так ведь она молится! Она тут не в огороде копошится, а молится! А я припёрся...”

Словно ветром качнуло его, и так стало досадно на самого себя. “Ну что я за скотина!” Стало так тоскливо и одиноко, словно он утратил неприметное, даже уже привычное, но такое дорогое, что захотелось плакать. “А ведь могла подумать, что я пришёл узнать про деньги. Боже мой! Какой ужас! Нет же, нет, как теперь объяснить?! Да плевать на деньги!” И где-то глубоко-глубоко, из того уголка, в который не заглядывал разум, послышалось: “А зачем же ты шёл? Конечно, весь день только и думал: а вдруг получится?” Вот и пришёл. “Ужас! Неужели это я, Господи?!”

— Всё будет хорошо, — донеслось сквозь темноту, и он увидел, что Люба смотрит на него, и глаза её теперь выделялись из сумерек, как два тихих света. Они не были светом в том смысле, как отличается свет от тьмы в физическом понимании, но отец Василий ясно видел свет в заволакивающих всё сумерках.

— Да-да... — пробормотал он, развернулся и пошёл со двора.

Когда он закрыл калитку и оказался на улице, полубормочное состояние отпустило его. Постояв немного, он оглянулся на двор Любаевых, а теперь уже Сапрыкиных, но не мог ничего толком различить. “Что это было?” — подумал он, но никакого ответа не последовало, и он направился к себе.

43

Дома, затворив дверь, отец Василий снял армейские сапоги и прошёл внутрь. Не включая света, сел на низенький жёсткий диванчик в комнате. Когда он только вселился, этот диванчик казался неудобным, и отец Василий всякий раз, садясь на него, думал, что надо его выбросить или хотя бы подложить что-то под ножки, но сейчас вдруг понял, что этот диванчик очень удобен для больного человека и, наверное, именно на нём умирала матушка Ксения.

Он опёрся спиной о стену и прикрыл глаза, хотя темнота и так сокрыла окружающий мир. Вспомнилось: “Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?”

“Как я живу...” — подумал отец Василий, но в этой мысли не было пока ни сожаления, ни раскаяния, ни отчаяния, просто некий вопрос,

не требовавший ответа, а скорее даже утверждение, что жизнь живётся постольку, поскольку в центре вопроса стоит “я”. И какое бы оно хорошее ни было, но центральным являлось именно оно. Следующий пришедший вопрос: “А главное — зачем?” — был уже конкретнее.

И тут отец Василий почувствовал такое одиночество, словно один-единственный человек на земле. Даже не на земле, а в этой непроницаемой темноте. Он не ощущал такой тоски ни когда узнал, что умер отец, ни когда хоронил мать.

Когда принесли письмо от матери, где она как можно мягче сообщала, что отцу стало плохо, и “скорая” приехала поздно, они как раз вернулись из рейда за Кандагар, была страшная жара и равнодушие ко всему окружающему. Ничего не хотелось. Он тупо валялся на кровати, укрывшись мокрой простынёй, сам превратившись в безжизненную тряпку, и только одно сидело в башке: зачем? То, что он после очередного рейда остался жив, воспринималось спокойно и естественно, но вот двоих убило, Саньке оторвало ногу — зачем? И весь ужас был в том, что смерть и вечная инвалидность воспринимались тоже естественно, как само собой разумеющееся. Он не испытывал ни страха, ни ужаса, только одно: зачем он остался жить? И вот тут в палатку чуть ли не вбежал (как можно было бегать по такой жаре) писарчук Лёня, весёлый раздолбай, сидевший при штабе за красивый почерк и неоконченное высшее образование. К нему потянулись, разбирая почту, а Василий не мог шевельнуться, он словно сросся с мокрой простынёй, принял её форму и очертания и сам стал тряпкой. “Топтыгин! Пляши! — кричал Лёнька, когда уже раздал всё. — Ну, Вася, ты чего, спишь, что ли?” “Отстань от него”, — сказали ему, кажется Хохол, а потом положили на тумбочку конверт. Он тогда сразу почувствовал тяжесть конверта, словно это был не лист бумаги, а камень. Через какое-то время он отодрал себя от простыни и взял конверт: письмо было от матери. Писала она редко, но он уже понял, что что-то случилось. Оказалось, умер отец. “Так и не поговорили”, — первое, что пронеслось в голове. Он сидел и смотрел на себя словно со стороны: странно, почему этот человек не плачет, не бьётся о стену, почему вообще нет никаких эмоций... Может, он сам уже умер? И всё, что сейчас происходит вокруг, только сон, некое потустороннее видение? Может, слишком много смертей? Да, с отцом так и не получилось поговорить. Так много хотелось спросить: о том, как он жил раньше, о том, как встретил маму, какую музыку они тогда слушали, что читали, что пели — откуда он, Василий, вообще взялся? Почему-то то, что он так и не узнает теперь всего этого, задевало больше всего.

С матерью получилось ещё хуже. Он просто устал. Когда вернулся из армии, вроде ничто не предвещало беды. А потом из небольшого городка перебрался учиться в областной центр и поначалу не обращал внимания, что, когда — а теперь всё реже и реже — приезжает домой, видит мать всё чаще пьяненькой. Впрочем, вроде как радостный повод: сынок приехал. Но уже когда учился на третьем курсе, это стало бросаться в глаза сильнее. Женщины спиваются гораздо быстрее и легче. А тут ещё мать осталась без дела. То она пахала на двух-трёх работах, чтобы обеспечить семью, а тут и работы в их городке не стало — никакой. Муж умер, сын уехал, а алкоголь был всегда, причём удивительно дешёвый на фоне дорожающего всего остального. Когда Василий понял, что произошло, он растерялся: что он мог сделать? Ругаться? Лечить? Контролировать каждый её шаг? Но для этого надо было уйти с последнего курса института. Домой приезжать становилось страшно и даже противно, словно опускался в клоаку, и надо было приниматься вычищать квартиру, оберегать мать, как-то реагировать на пьяные разговоры, терпеть её вечером совершенно в отвязанном состоянии. При этом его поражало, что утром она выглядела совершенно трезвой, но уже к обеду становилась веселенькой, а ещё солнце не успевало зайти, как она превращалась в нечто ужасное, что язык не поворачивался называть мамой. Да, он и ругался, и просил, и пытался лечить какими-то препаратами, он даже неделю прожил в доме, но не выдержал и вернулся в город. А скоро мама умерла. И тогда Василий испытал страшное по своей сути облегчение.

Он пытался утешить себя тем, что облегчение пришло от того, что мама от-мучилась, но каждый раз, когда вспоминалось это чувство свалившегося груза, ему было нескончаемо стыдно за своё сыновье предательство.

Любил ли он их? Да. Он и сейчас любил, более того, казалось, что с каждым воспоминанием он любит сильнее, но уже невозможно попросить прощения и что-либо исправить. Под густой бородой у отца Василия таился шрам. Щёку ему в армии пропорол штык-ножом один крендель во время показательного боя на каком-то празднике. Несильно, и рану тут же в гарнизоне быстро зашили, но вид у Василия теперь был устрашающий, и на гражданке ему даже нравилось иногда нагонять страху на девушек и гордиться тем, что шрамы украшают мужчину. Это потом он начал смущаться шрама и отрастил бороду. Но когда в первый раз увидел шрам в зеркале, словно немело застегнули щёку на молнию, то спросил эскулапа: “А это когда зажи-вёт? — Никогда, — ответил тот. — Это теперь на всю жизнь”.

Так и с каждым поступком, который мы совершаем в жизни. С каждым словом, с каждой мыслью. На всю жизнь...

Но чувства сиротства тогда не было. А сейчас — было.

Господи, Господи, для чего Ты оставил меня?

44

Какое-то время Василий оставался на диванчике, слегка покачиваясь, словно тихая музыка овладевала им, и он постепенно, вовлекаясь в проникающий ритм, терял всякое желание сопротивляться захватывающей музыке, и телу оставалось только полностью соединиться с пришедшей извне музыкой и перестать вообще проявлять себя. Отец Василий освобождался от тела, а вместе с тем освобождался от своих чувств, мыслей, тревог, всё это истончалось, таяло, и сквозь этот рассеивающийся дым он увидел отца и мать, и заплакал от того, что почувствовал, как они его любят, и как он любит их, он увидел институтских однокурсников и почувствовал, что им тоже непросто, он успел передать им, что если несколько людей думают друг о друге, то, значит, они не одиноки, а таких людей гораздо больше, чем их студенческая троица, вот молится Люба, вот едет на машине Виктор, уставший и тоже отрешённый сейчас от мира, как и Василий, а иначе и не удалось бы его увидеть, а вот ставшее близким село, мир, как говорили раньше, и отец Василий ещё почувствовал каждого из этого мира как частичку себя самого, почувствовал настолько явственно, как чувствуют, например, собственную руку или ногу, или глаз. И он своим отрешённым сознанием, которое теперь, растворившись в музыке, стало и не его, потому что думалось не то, что хотел, а то, что вливалось в него, а он только принимал и отзывался, подумал: “Наверное, это и есть Любовь”.

И Любовь коснулась его. Нет, скорее не так. Любовь, сокрытая в нём, отозвалась Тому, Что всегда было и есть, и будет в этом мире. Оно всегда было, и Василий знал это, его ум знал это. Об этом говорили в семинарии, он говорил об этом в проповедях — и всё это звучало разумно, но вот только теперь Любовь достигала ума. Он сам отозвался на это пребывающее в мире Начало. Он даже не мог определить, где и что отозвалось, то есть не мог назвать конкретную точку — голова, грудь, живот, но это была именно малая точка, узкая щёлочка, за которой открывался иной мир. Это было похоже на луч света, который попадает на тебя и начинает согревать. Он только касается тебя, и ты начинаешь ощущать его всем телом, и становится тепло везде. И так повлекло в эту приоткрывшуюся щёлочку, только не обращать внимания на волны и ветры, только не оборачиваться. Но как же всё-таки страшно: оказавшись на границе двух миров, сделать решительный шаг. Отец Василий сел и явственно ощутил шатающиеся под ногами волны и ветры, хотя всего лишь стукнула калитка.

Отец Василий вытер лицо, поднялся и вышел на крыльцо. На лавочке, прислонившийся к стене дома, сидел Виктор, точно такой, каким видел его только что отец Василий — с полузакрытыми глазами, уставший и отрешённый... Но теперь он не в машине, а здесь, на лавочке.

Отец Василий сел рядом. Так они пребывали какое-то время в тишине, привыкая к вернувшейся действительности.

— Домой-то заходил? — спросил отец Василий, хотя вопрос был глупым, ясно, что не заходил, но важно было услышать ответ.

Виктор покачал головой, потом тоже, словно понимая, что от него требуется разговор, произнёс:

— Нет... Пусть спит...

Снова бархатно укутала тишина. Но надо было выбираться.

— Как там город? — отец Василий ничего не вкладывал в вопрос, спросил, чтобы не потерять ниточку, по которой возвращались на грешную землю.

Виктор повернул голову в сторону отца Василия, затем опять запрокинул её в небо и на глубоком выдохе произнёс:

— Блаженны нищие.

— Блаженны нищие духом, — поправил отец Василий.

— Не-ет, — Виктор оторвался от звёздного неба. — Именно просто нищие! А знаешь почему? — Виктор активизировался. — Потому что им не надо постоянно думать об этом дерьме, — и он ткнул костылём в спортивную сумку, валявшуюся в ногах, которую отец Василий поначалу и не заметил. Сумка глухо охнула, словно живое существо, и что-то внутри неёбрякнуло.

— Одна звенеть не будет, — поднял палец отец Василий.

Виктор самодовольно хмыкнул.

— Так, может... — предложил отец Василий.

Виктор задвигался, словно и правда возвращался к жизни, как больной, к которому подключили жизнеобеспечивающие источники.

— Пошли в дом, — сказал отец Василий.

Витька кивнул.

— Только сумку сам бери, я уже натаскался.

Отец Василий с некоторой опаской приподнял сумку, но она оказалась не тяжела. Внутри продолжало позвякивать. Дома он поставил сумку на стол, раскрыл её и недоуменно посмотрел на вошедшего следом Виктора, и несколько разочарованно протянул:

— Э-э, да тут деньги.

— Там ещё целлофановый пакет должен быть, — сказал Витька.

Отец Василий раскрыл сумку на полную широту.

— Ага! — обрадовался батюшка и извлёк снова звякнувший пакет на стол. — Да тут и закуска! — вслед за двумя бутылками коньяка на стол были извлечены бутерброды, сыр и ещё до неприличия неизвестная снедь. — Ну что ж, достойно! — подытожил отец Василий и присовокупил из кухонного шкапчика рюмки. Затем разлил коньяк и поднял рюмку. — С возвращением!

Так, стоя, они и выпили, и, уже надкусив бутерброды, сели.

После второй рюмки Виктор сел поудобнее, положил руки на подлокотники кресла.

— Так вот, — словно разговор, начатый на улице, и не прерывался, — нищие не озабочены миром и всеми его приключениями, им не нужно суетиться, богатство только создаёт хлопоты и постоянные переживания. Сначала его надо добыть, потом удерживать и приумножать, потому что если не будешь его приумножать, оно будет таять.

— И в конце концов можно стать нищим.

— Нет, богатый — это состояние, внутреннее состояние. Богатый может не иметь денег, но оставаться богачом, который всё время будет озабочен их добычей. Ему всегда будет не хватать. Человек думает: вот наберу столько-то и смогу делать, что захочу. Но именно в этот момент он перестаёт быть свободным.

— А если человеку хочется есть? — уточнил отец Василий, дожёвывая бутерброд и потянувшись к следующему. По ходу, впрочем, рука его наткнулась на бутылку и разлила ещё по рюмке, а потом продолжила путь к бутерброду.

— Значит, он думает о еде. И тоже перестаёт быть свободным. Можно ведь не думать о еде...

— И умереть с голоду... — закончил отец Василий.

— От истощения физических сил, — уточнил Виктор. — Но оставаясь свободным, — они приподнял рюмку.

— То есть с Богом, — попытался подвести черту отец Василий.

Виктор задумался, и рука с поднятой рюмкой замерла.

— Скорее всего, в Боге. Я не могу это объяснить... “С Богом” — это как бы получается рядом. А когда “в Боге” — то действительно свободен и тогда можешь всё.

— Но только то, что сопричастно Божьей воле, — отец Василий всё пытался подвести богословскую черту.

Но подвёл её Виктор:

— Вот в этом и кайф, — и выпил.

Некоторое время закусывали. Наконец, отвалившись на кресло, отец Василий спросил:

— Так что же всё-таки произошло?

— Я оказался в нужном месте в нужное время, — ответил Виктор, потом продолжил: — И не стал делать то, что, наверное, мог сделать, а просто ждал. Весь день сплошные ожидания...

Он посмотрел на отца Василия и вздохнул, понимая, что придётся рассказывать.

— Найти Мишку оказалось не так уж и сложно. Гораздо сложнее было к нему попасть.

45

В городе Виктор первым делом направился в экономический институт, представлялся земляком и одноклассником, говорил, что Михаил Кротов обещал ему помощь в городе по всяким больничным делам. Чаще к нему относились настороженно, но всё-таки врать Виктору не приходилось: он действительно был земляком и одноклассником Кротова, а отсутствие ноги выглядело красноречивее всех доказательств. Из разговоров с преподами выяснилось, что Кротов чуть ли не лучший ученик и у него уже готовый диплом, который вполне мог потянуть и на кандидатскую, и что на кафедре весьма сожалеют, что Михаил перевёлся на заочный, а ведь вполне мог бы поступить в аспирантуру. От однокурсников Виктор узнал, что Кротов жлоб и себе на уме, и что вообще среди студентов благорасположением не пользовался. И если преподаватели говорили о Кротове с некоторым смущением и порой даже страхом, то в словах студентов проскальзывала явная враждебность, какая бывает у завистливых и оттого чаще всего бездарных людей.

Виктор узнал также, что в общежитии Кротов уже года два не живёт, хотя комната числилась за ним и что он чуть ли не выкупил её. А искать его следует скорее всего в офисе (об этом сообщалось с явным пренебрежением и даже злобностью).

— И что за офис? — спросил Виктор.

— Увидишь, — с нескрываемой злостью ответил худощавый парень с красными глазами и добавил: — Только он всё равно ничем тебе не поможет. Плевать ему на всех. Он и разговаривать-то с тобой не станет.

Такая реакция Виктора несколько насторожила, и он поехал по добытому адресу. Офис оказался почти на окраине города, дальше уже начиналась промзона, но выглядел вполне приличным двухэтажным особнячком, за внешней облицовкой которого всё-таки угадывался бывший жилой барак. На входе Виктора остановил бугай в чёрной униформе.

— Куда?

— К Кротову.

Бугай нескрываемо удивился то ли наглости, то ли простоте одноногого.

— У вас договорённость? — спросил он.

— Нет, — ответил Виктор и опять запел про землячество и больничную помощь.

И чем дольше он говорил, тем больше бугай морщился. Наконец он не выдержал и прервал пришельца.

— Нет, — и выдохнул: — Сначала надо записаться у секретаря. Потом... — бугай задумался, как бы подбирая слова, что ничего потом в общем-то ждать и не следует. — Потом... вам сообщат...

— То есть?

— То есть, — попытался растолковать бугай, — Михаил Поликарпович весьма занятой человек, и отвлекать его по пустякам не положено.

— Да я ж с ним из одного села!

— Тем более, — ухмыльнулся бугай. Потом, как бы сжалившись над инвалидом, произнёс: — Вон телефон — звони секретарю.

46

Михаил Поликарпович, двадцатичетырёхлетний директор одного из заметных предприятий области, в данный момент ничего не делал. Он пребывал в некотором оцепенении и просто тупо ждал, сидя в директорском кресле. Оцепенение настолько поглотило, что он даже не пытался поменять позу, от которой начали зудеть неловко поджатые ноги, а правая рука, на которой лежала взлохмаченная голова, начинала затекать. Кротов ждал своей участи. И от того, что ожидание тянулось уже несколько дней, и он успел перебрать всякое, вплоть до самого идиотского: бросить всё и свалить, пока не поздно, за бугор, давящее чувство неопределённости ввергало во всё большую окаменелость. Кротов уже был согласен на любое решение, лишь бы эта давящая неопределённость быстрее закончилась. Он не мог быть без дела, а вот, однако, уже несколько дней он приходит утром в свой офис и тупо сидит в кресле. И эта пытка достигала такого отчаяния, что начинала казаться гибельнее и ужаснее, чем просто смерть.

Нефтянка — это тебе не пустые бутылки сдавать. К углеводородам Михаил припал благодаря своему однокласснику, сыну начальника транспортного цеха нефтеперерабатывающего завода Валентину Голубеву. Валька вообще-то и так был упакован по полной и собственными делами заниматься не собирался, но Михаил уломал-таки Вальку открыть собственную контору.

До этого Кротов занимался всякой мелочёвкой: перепродавал шмотки в своём же вузе, одно время пытался наладить поставку помидоров из родного села, но на рынках оказалось настолько всё схвачено, что перепродажа барахла выходила если не прибыльнее, то безопаснее. С середины второго курса Кротов начал давать займы деньги. Разумеется, под проценты. На третьем курсе познакомился со смазливой девушкой с параллельного потока, мама которой возглавляла профсоюз местной кондитерской фабрики. И дело потихоньку пошло, точнее, поехало: Миша стал возить коробками конфеты по окрестным районам и стал иметь не только более солидную копеечку, но и обрывать знакомствами. Миша купил “четвёрку”, столь необходимую для перевозки коробок, и стал снимать квартиру, где одно время даже вроде как жил с кондитерской Лялей. Возвращаясь каждый раз из очередной поездки, он делился очередными успехами и всякий раз повторял: “Да это же настоящий Клондайк!” Его и вправду поражало, почему никто не догадался развезти конфеты по маленьким городкам и райцентрам? Красиво упакованные коробки обычно отправляли в областные центры, в Москву, делали заказы за границу, но совсем не видели, что здесь, у себя, в районе ста километров, эти лакомства востребованы ничуть не меньше, ибо и здесь есть то же руководство, те же председатели и всякого рода начальники, готовые раз-два в год и шикануть... А сколько у нас такой начальствующей мелочи! Миша начал подыскивать недорогой грузовичок, но тут случились две неприятности: Ляля, которую никак не интересовали Мишины клондайки, да и вообще надоело выслушивать все эти коммерческие расчёты, ушла к другому (чем Миша в общем-то не сильно и опечалился: таскаться с Лялей по ночным дискотекам было и непонятно, и противно), а во-вторых, кондитерскую фабрику купили иностранцы и разогнали всё советское руководство, наладив учёт и контроль похлеще ленинского. Конечно, тоненький

ручѐк оставался, но Миша уже почувствовал свои возможности и понял, что при начавшемся в стране развале им как раз и самое применение.

Миша огляделся и увидел Вальку. Валька был тот ещё крендель. Если Ляля не могла представить жизнь без ночных тусовок, то Валька — без бухалова. Миша порой искренне удивлялся: как можно столько пить и с утра выглядеть совершенно трезвым. Возрастая в селе, Миша знал, что с утра должно что-то болеть, если уж не тело и голова, то хотя бы совесть — у Вальки не болело ничего. К обеду он был уже по обыкновению весел, а к вечеру невменяем. Миша пару раз попробовал следовать в Валькином ритме, но утром чувствовал себя настолько плохо, что сельские утренние мужики вызывали чувство братства и сочувствия. В такие утра Миша всех прощал и готовился умереть. В общем, Вальку можно было благодарить уже только за то, что он воспитал в Михаиле стойкую ненависть к алкоголю. Ну, и за то, что, когда Миша в очередной раз дотащил Валькино тело до его дома и познакомился с Валькиным отцом, то понял, собственно, в кого Валька уродился: его папаня тоже выпить был не дурак, впрочем, оправдывал он это тем, что иначе вопросы не решаются. И они с первой же встречи чувствовали друг друга, как среди толпы, если ты обладаешь звериным чутьём, можно почувствовать такого же зверя. А папаша Вальки как раз таким зверем и был. Он мечтал если не о преемнике (он давно понял, что сын на это не годится), то хотя бы о смышлённом помощнике и пригласил Мишу побывать на заводе, вроде как на экскурсию. Впрочем, по цехам папаша Мишу особо не водил, махнув рукой, мол, ничего там интересного, а вот в отделе они просидели долго, а потом ещё проторчали пару часов на станции, где заливались всякими углеводородами цистерны. Вернувшись с завода, Миша схватил Вальку и, тряся его за лацканы модного пиджака, вопил: “Это же Клондайк!” Дело было уже вечером, и Валька только бесчувственно мотал головой, видимо, в знак согласия. Всё же встряска вернула его в мир, и Валька согласился открыть фирму, а выпив ещё, согласился её возглавить.

Царивший бардак при отгрузке и распределении продукции нефтеперерабатывающего завода поразил Михаила. На заводе все жили только сегодняшним днём, точнее — вчерашним, в зависимости от того, с кем пил накануне начальник транспортного цеха. Те же, кому не посчастливилось угостить Валькиного папашу, слонялись по заводууправлению и умоляли отпустить продукцию. Созданное Мишей и Валькой ООО занялось логистикой нефтеперерабатывающего завода. Довольны оказались все. Папаня практически снял с себя производственные заботы и теперь мог спокойно заниматься любимым делом. У Вальки отпала нужда кланчить у того же папани деньги. Как ни странно, и самому заводу новое ООО пошло на пользу, так как существовавший доселе хаос структурировался и обрёл некую системность и даже предсказуемость. Михаил был представлен генеральному директору как перспективный молодой специалист, и по окончании вуза ему было обещано место в заводской структуре, а это открывало новые перспективы. Михаил перевёлся на заочное отделение и с удвоенной энергией принялся гнать составы с бензином налево. И направо. А куда угодно, лишь бы возвращалось копейкой. Так ведь не копейкой! Деньги повалились, словно те же составы возвращались, уже груженные этими самыми деньгами. Конечно, приходилось делиться. Но это всё укладывалось в Мишины расчёты. Он поменял четвёрку на “опель” и купил участок недалеко от города, где уже был возведён угрожающего вида забор, и теперь Миша выбирал проект будущего особняка.

Но тут грохнули генерального директора завода и его заместителя. Прямо в кабинете среди бела дня. Зашли представительные ребята вроде как на переговоры, директор пригласил зама по коммерции, главного инженера, звал ещё Валькиного папашу, но его спасло то, что время было послеобеденное и тот уже приступил к традиционному “решению вопросов”. Впрочем, на следующий день папаша спешно уволился и умотал с женой и Валькой за кордон, не дав тому защитить диплом. А ещё через день завод получил нового генерального директора, хотя все понимали, что фигура это скорее подставная, а реальным хозяином завода стал один из местных бандюганов, активно включившихся в передел социалистической собственности.

“Вот где Клондайк-то!” — подумал Миша, но в заводоуправление его не пустили. Куда-то звонили, спрашивали, Миша нервничал всё больше. В конце концов появился высокий, физкультурного типа человек, который долго смотрел на Мишу немигающими рыбьими глазами, отчего внутри похолодело, и сам Миша сжался, почувствовав себя уязвимым со всех сторон, захотелось развернуться и убежать. Удовлетворённый произведённым эффектом физкультурник, словно делая одолжение, произнёс:

— Жди. Позовут.

— Так давайте я в отделе подожду, — робко предложил Миша. — Там дела, бумаги...

Физкультурник прикрыл рыбы глазами, немного помолчал, словно и правда пытался думать, затем повторил:

— Жди, — и ушёл.

Миша потоптался у проходной и поехал в офис. И вот уже четвёртый день ждал, всё больше не понимая, чего он ждёт. Сначала он думал, что, когда всё устаканится, его обязательно позовут, не могут не позвать, потому как действительно транспортные потоки обрели при нём логику, и вся эта система была в Мишиной голове, потом он стал понимать, что у новых хозяев может быть совершенно другая логика, и, вполне возможно, хаос как раз их больше и устраивает. В конце концов, Миша уже дошёл до понимания того, что его тоже вполне могут грохнуть, как и всю заводскую верхушку: всё-таки знал он достаточно много, и эти последние мысли всё больше леденили нутро, словно человек с рыбьими глазами продолжал вглядываться в него.

И тут зазвонил телефон. Миша даже вздрогнул — настолько отвык от каких-либо проявлений внешнего мира. Будто мир отрёкся от него и обходил стороной, как прокажённого. Миша схватил трубку. Звонила секретарша.

— Вас хочет видеть чело...

Миша не дал ей договорить:

— Да, срочно пропустить.

— Но он...

— Я сказал: срочно пропустить, — опять перебил Миша и бросил телефонную трубку.

Тут же встал и прошёлся по кабинету. Подошёл к зеркалу, поправил пиджак, причёску, снова прошёлся, подошёл к двери и в шаг от неё замер.

Время тянулось страшно. Миша готов уже был схватиться за ручку и убежать из кабинета, когда раздался лёгкий стук.

— Да! — воскликнул Кротов и сам испугался своего крика.

Дверь распахнулась, и Мишка подумал, что он спятил окончательно, он даже потряс головой, но наваждение не исчезло: перед ним стоял одноногий человек, опиравшийся на костыль, облачённый в строгий, словно на свадьбу, костюм, цветов только не хватало. Мишка вгляделся, и что-то давно забытое укололо его. Одноногий широко улыбнулся:

— Не хило ты тут устроился.

— Витька! — завопил Кротов и бросился гостю на шею, едва не сбив с ног.

47

— Я не знаю, что с ним случилось. Точнее сказать, не знал, — Виктор вздохнул. — Видимо, там, в городе, уже так привыкли к смертям и убийствам, что перестали обращать на это внимание. Люди закрываются друг от друга, каждый живёт сам по себе, мир распадается на маленькие элементы. Я думаю, что не будет никакой ядерной войны, мир просто разбежится. Ну, так вот... Я никак не ожидал такой реакции, потому что не знал, что он уже несколько дней сидит в своей конторе и ждёт приговора. А приговор ждал его. В общем, он мне обрадовался. Я было начал рассказывать, зачем поехал, про храм, богадельню, а он руками замахал, мол, после, и потащил меня в ресторан, словно у нас праздник. Тут-то всё и началось. Он начал выкладывать все свои страхи, словно торопясь быстрее освободиться от них,

и его совершенно не интересовало, отчего я на одной ноге, и откуда у меня свадебный костюм. А он всё о себе...

— Это он исповедовался, — сказал отец Василий.

— Я-то что? — удивился Виктор. — Я не священник и грехи не отпускаю...

— Грехи Бог отпускает, а исповедоваться хоть столбу можно, но желательно всё же живой душе.

— Ладно, — согласился Виктор. — В общем, слушаю я его, из него, как из прорвавшейся трубы, брызжет всё подряд, и тут распахивается дверь, и входит бригада накачанных братков, и я вижу, как двое достают из-под длинных плащей автоматы и наводят на нас. Причём всё, как в замедленном кино. Тут Мишка осёкся и говорит: “И что теперь делать?” А я успеваю сказать то ли ему, то ли себе: “Молись”. Но сам молиться не успеваю, потому что один из братков вдруг поднимает руку и орёт: “Стоп-игра”, — а я знаю, что так мог орать только один человек. Братки стволы опускают, а этот человек отделяется от вошедших и бросается ко мне, и опять, как недавно Мишка, орёт: “Витька!” И тоже чуть не валит меня. И это уже второй раз за день. В общем, только попадаи в этот город — на каждом углу приятели, даже которых и не чаешь. Вот так вот, а это был Саня из нашего взвода. Он вообще по жизни безбашенный, и для него сама жизнь, как кино. Он, бывало, во время боя выскочит и как заорёт: “Стоп-игра!” — и прикинь, сразу всё замолкало. Раза три он такой трюк проделывал. В казарме чаще, там подерутся или разборки какие, тоже как заорёт. И снова все замирали, будто и правда играли во что-то, а тут вдруг на стопорную кнопку нажали. В общем, после войнушки он себе другую забаву нашёл. А ему и надо было на границе жизни и смерти находиться. Такой вот он, Санька. И ведь ни одной царапинки! Это ведь он за мной шёл, когда меня шандарахнуло. Ему ничего, а у меня ногу оторвало. Он, кстати, меня и в санчасть дотащил. Вот, значит, он меня наобнимал и садится с нами, радостный такой: “Эх, — говорит, — а мы чуть тебя не грохнули!” “Меня-то за что?” — искренне удивляюсь я. “За компанию!” — ржёт Санька. А Мишка тем временем всё белее и белее становится, и только губы у него шевелятся, как у рыбы на берегу. “А чего у вас стол пустой?” — спрашивает Саня и теперь уже орёт на официанта. А официанты, да и все вокруг, тоже белые. “Ты бы отпустил товарищей, а то неудобно как-то”, — говорю я ему. “Ах, да, — спохватывается Саня. — Пацаны, — говорит, — подождите на выходе, я тут перетру пока с зёмой”. Те сворачиваются и выходят. В зале дружный вздох облегчения. “Только не выпускайте никого! — кричит вдогонку Саня и подмигивает мне: — Это чтоб не расслаблялись”. Про кого это он, я так и не понял: про тех, кто в ресторане был, или про свою братву, в общем, напряжёнка осталась. “Чего не несут-то ничего?!” — опять возмутился Саня, ну, и тут нам понесли — я такой жратвы отродясь не видывал. Выпили. Теперь Саня рассказывать начал, выясняется, что должны они были Мишку ликвидировать, потому что он вроде как много чего про внутреннюю кухню завода знал. “Так если он много знает, чего его ликвидировать? — спросил я. — Лучше на работу возьмите”. И к Мишке: “Пойдёшь на работу?” Тот только головой мотнул: мол, пойду. “Вот, говорю вам, ценный кадр, а вы сразу ликвидировать”. “Да это не я, — признаётся Саня. — Мне ж команду дали и вперёд, — и на Мишку кивает: — Я даже не знаю, чем он там занимался”. И тут Мишка из себя выдавил: “Логистикой”. Мы оба ошарашенно на него уставились. “Чем?” — переспросил Саня. Ну, и тут Мишка стал рассказывать, у него как бы другую трубу прорвало, мне он этого, видимо, ещё не успел рассказать, а тут... Я хоть до конца не понимаю, но цифры зазвучали бешеные. Тут Саня ему про какие-то документы, а Мишка, смотрю, порозовел малость: “У меня в офисе всё, пойдёмте”. Саня приказал официантам всё со стола упаковать, и мы поехали в офис, а бригада Санина на двух джипах за нами. Саня говорит: “Нехорошо с пацанами получилось, они, считай, порожняком проболтались, — и добавил: — Пока”. А Мишка уже уверенно, словно почувал, что опять на коне: “Решим”, — говорит. А Саня ему: “Ну-ну...”

Виктор подвинул к отцу Василию пустую рюмку:

— Сейчас самое интересное будет.

Батюшка соблаговолит, Виктор крикнул и, не обращая внимания на закуску, продолжил:

— Значит, так: приехали мы в Мишкину контору, там хоть и никого, только сторож с чайником, но нас-то, понятное дело, пустили, поднимаемся в кабинет. Мишка бумаги какие-то достал, стал Сане показывать и пальцем тыкать, а тот даже задумался и вроде как и на бумаги смотрит, а сам, видно, своё соображает, а я сижу, как дурак, в стороне и ничего не понимаю: ни в бумагах, ни вообще зачем я здесь и что вообще делать, потому как последний автобус-то уже ушёл. Наконец Саня руку на бумаги положил и говорит: “Стоп-игра. Я тему понял. Всё решаемо”. Подумал ещё и уже уверенно: “Чуть по-другому, но решаемо”. И показалось, что он и правда что-то решил, потому как бумага сгрёб и опять замигал глазами. “Что ж, давай, — говорит, — посчитаемся, да и решение предстоит хитрое, мы другим путём пойдём, но это знать тебе пока необязательно”. Тут Мишка тоже оживился, отодвинул стену боковую, а там сейф, открывает и давай оттуда пачки денег доставать. Я отродясь столько не видел. А он их на стол, на стол. Потом вдруг замялся и говорит: мол, я вот Виктору обещал помочь. Тут и Саня на меня внимание обратил: а он, мол, что? Мишка мне рукой помахал: сам расскажи, ну да, я ж ему толком-то не успел ничего объяснить, и тут откуда что взялось, видимо, долго молчал или ещё что, а может, это такие деньжищи на меня впечатление произвели, в общем, понесло меня, не хуже Мишки. Саня слушал, слушал, а потом опять: “Стоп-игра. Я тему понял. Церковь — дело хорошее, — и раз и отодвинул в мою сторону половину бумажной кучи. — Забирай”, — говорит. Тут я, видимо, уже выговорился, потому что онемел и вообще не знаю, что сказать. “Чего застрял?” — спрашивает Саня. “Мне бы пакетик какой, — говорю я. — Хоть целлофановый”. — “Ха! — сказал Саня и как гаркнет: — Ёжик!” Я думал, это у него ещё один прикол, а тут дверь распахивается и вкатывается один из их компании, и впрямь вылитый ёжик: у него и волосики чуть торчат, и личико сморщенное, а сам немного сгорбленный и крутленький. Он, оказывается, под дверью так стоял — вот дисциплина! “Тащи сумку!” — скомандовал Саня. Тут же появилась из-за двери сумка, получается, что и она уже за дверью дождалась. Ёжик сумку поднёс, Саня рукой махнул, и Ёжик исчез. А Саня сумку развязил и прямо со стола половину, которую мне подвинул, и свалил. “Держи”, — говорит. А я всё стою ничего не понимающий: неужели столько денег — и вот всё нам. Саня посмотрел на меня, потом на Мишку, потом опять на меня и говорит: “Ладно, переживут пока, — и опять Мишке подмигивает. — Мы ж с тобой тут таких дел наворотим... А Витька за нас молиться будет. Так, Витёк?” — “Буду”, — отвечаю, а как я мог ещё ответить, это ж всё одно наши: бизнесмены, бандиты, братки — все наши... “Вот и славно, — отвечает Саня и остальную половину денег тоже валит в сумку, и мне протягивает. — Держи!” Ну, я и взял. И стою. “Стройтесь!” — говорит Саня, в смысле чтобы мы храм с богадельней строили. Тут до меня дошло, что всё получилось, как и не думал, а всё шло само собой, и я только не мешался, и что ведёт меня Господь: ну, думаю, это Люба за меня молится, и осмелел вконец, говорю: “Сань, а нельзя ли меня на одной из твоих лошадок до дому подбросить, а то автобус-то последний ушёл”. — “Ха!” — опять вырвалось у Сани. А я сдуру возьми и брякни: “Если что, я и заплачу”. Тут Саня засмеялся, хорошо так и от души засмеялся. И Мишка тоже. Саня слёзы вытер и говорит: “Молись лучше! — и опять сверху в сумку мне всех этих омаров с коньяком напихал, а потом снова как крикнет: — Ёжик!” И вот я здесь. Всю дорогу так и молился. Вот в общем-то и всё... — и Виктор посмотрел на стоящую у дверей сумку.

Отец Василий тоже посмотрел на неё долго и настроенно, словно вместо денег в сумке лежала бомба.

— Деньги-то ворованные, — наконец произнёс отец Василий. — Как мы на них богадельню строить будем?

На этот раз Виктор налил сам — и себе, и отцу Василию. Выпили. Ещё помолчали, глядя в стол. Потом Виктор спокойно, словно обо этом всю дорогу и думал, произнёс:

— Так у кого они украдены? У нас же и украдены... Это мы, считай, свои деньги вернули. Не мы, конечно, Бог вернул. Я ведь и, правда, когда обратно ехал, молился. Вернее, благодарил. И ни разу у меня никаких сомнений не возникло, что это наши деньги. Только Бог вот таким способом решил их нам вернуть. И не просто ведь. Смотри: и Мишка, и Саня — Бога-то вспомнили. Я думаю, и не забудут теперь. А я молиться за них буду: свои же...

— Как всё запутано, — вздохнул отец Василий и ещё раз вздохнул, глубже: — Деньги... Сколько погибло из-за них...

— Так я ж не о деньгах буду молиться, а о жизни... Чтоб Бога помнили... И Любу попрошу, вот кто правильно молиться умеет. А деньги... — и тут Виктор аж подпрыгнул от посетившей его идеи: — А ты, отец, их освяти! А что? Совершим молебен — и порядок.

Отец Василий, пребывавший всё ещё в задумчивости, покачал головой:

— Нет... Какие бы они ни были, их ничем не освятишь... Тут молиться о нас надо, чтобы нас эти деньги не потащили... Ладно... Все мы за тебя молились. Кто как мог... Живой вернулся, и слава Богу. А деньги... Это испытание, как мы распорядимся. Нам держаться надо, как будто и нету их у нас... Зарплату выдадим, но не больше... Кирпич купим, но такой, какой и хотели, без всякого шика... И остальное так же — всё по проекту... Купол ещё надо... Ладно, — отец Василий поднял голову и выдохнул, словно заплутавший человек, вышедший наконец на дорогу. — Утро вечера мудренее. Помолится на сон грядущий, а там видно будет.

Виктор поднялся.

— До завтра тогда.

— Поклон Любе.

48

В конце октября зарядили дожди, впрочем, здание богадельни уже было построено, крыша положена, теперь оставалась только внутренняя отделка, храм же обложили кирпичом, и выглядел он теперь свежо, всем своим обновлённым видом показывая, что жизнь продолжается. Отец Василий выдохнул, и словно с этим выдохом из него вышел строительный запал. Проверять, как идёт отделка богадельни, он теперь заходил изредка, разве когда шёл со службы домой, да и то не всегда. Проходился по комнатам, пахнувшим мелом, краской и пылью, заглядывал на второй этаж, где под стук дождя ладили потолки, качал головой, говорил: “Ну-ну”, — и уходил. А вот служить принимался чаще: начал по воскресным вечерам читать акафист Богородице, литургию служил теперь не только в воскресенье, но и в субботу, а после неё панихиду, мог и среди недели праздник сотворить.

Когда дожди поднадоели, вдруг по-летнему прояснилось, и дни встали такие тихие, светлые, что никак не хотелось нарушать их никакими заботами и попечениями, всё словно остановилось, и так хорошо было смотреть в даль и чувствовать беспредельность мира и времени.

В один из таких дней отец Василий после службы отправился на площадь, куда приходил автобус, и замер там памятником. Недалеко стоял настоящий памятник: Ильич указывал в распахнувшуюся даль и, казалось, звал туда, а отец Василий никого никуда не звал: он просто стоял в этой дали. Для него, собственно, и не было никакой дали, она находилась в нём.

И он так стоял, ни на кого не обращая внимания, да и люди, которые тоже пришли к автобусу или шли через площадь, невольно, замедляя шаг, отступали от отца Василия, словно вокруг него образовалось некое сакральное пространство, которое никак нельзя нарушать.

Наконец приехал автобус. Фырча и подрагивая, скрипнул тормозами прямо около отца Василия, и площадь задвигалась: встречающие замахали руками, приехавшие спешили выбраться на свежий воздух, отъезжающие

плотнее прижались к своим сумкам. Одним из последних из автобуса вышел высокий симпатичный мужчина, но с усталым лицом, впрочем, и весь вид его, когда он уже ступил на землю, казался немного помятым то ли дорогой в трясучем автобусе, то ли жизнью, симпатичным же было лицо, на нём, словно сама себя стесняясь, теплилась виноватая улыбка. Отец Василий шагнул к мужчине, и они тепло обнялись. Затем Василий трижды расцеловал приехавшего, а тот смущённо подставлял щёки.

Отец Василий оживился и, что-то рассказывая, повлёк гостя за собой, а тот всё озирался, словно пытаясь вспомнить, и ему немного неловко было за эти воспоминания, но и радостно. Заметно было, что мужчина слегка припадает на правую ногу и не совсем поспевает за батюшкой. Тот иногда притормаживал и, наконец, подхватил приехавшего под руку. А вслед им всё смотрел с вытянутой в другую сторону рукой грустный Ильич.

Так они дошли до храма. В храме гость огляделся, словно человек после больницы, и потом некоторое время стоял, опустив голову. Отец Василий переступал с ноги на ногу рядом. Гость поднял голову и то ли сказал, то ли задал вопрос:

— А внутри ничего не изменилось...

— Так две тысячи лет ничего не меняется, — ответил отец Василий и заторопил гостя: — Пойдём, Тёма, я тебе богадельню покажу: вот где стройка века.

Он повлёк гостя к выходу, а потом к большой двухэтажной коробке, украшенной сверху небольшим сияющим куполом.

— Вот! — указал отец Василий на кирпичную коробку, словно представлял уникальное достижение, претендующее если не Нобелевскую премию, то как минимум на восхищение.

Гостя понял и похвалил:

— На ковчег похоже.

— Точно! — восхитился отец Василий. — Как я сразу не сообразил. Вот что значит взгляд со стороны. Как ты уловил-то! Так и назовём богадельню — Ковчег! Пойдём внутрь, я тебе всё-всё покажу.

И отец Василий принялся водить гостя по комнатам, разъясняя, где будет трапезная, где — библиотека, где — комнаты для нуждающихся в приюте, — всё показал вплоть до туалета и душа. Гость вежливо кивал, поддакивал, делал удивлённые глаза, говорил восторженно: “О-о!” — но особо энтузиазмом отца Василия не заражался, а только всё больше припадал на болящую ногу. Наконец, отец Василий заметил это, а может, и сам устал:

— Ты чё, Тёма, хромаешь-то... Ладно, дома расскажешь. А вот приедешь как-нибудь, я тебя здесь поселю, тогда оценишь. К зиме-то должны закончить... Ну что, пойдём в келью? Не бойсь, это я так дом, где живу, называю. Ну, по сравнению с этим, у меня келья и есть. Пошли. Да что у тебя с ногой-то?

Они вошли в дом. И гость, словно слепец, узнающий давно потерянное, чуть ли не трогая воздух руками, устроился в кресло, словно кот на привычное место.

Отец Василий ухмыльнулся, быстро заставил перед гостем стол и распахнул окно, и задержался у него, вдыхая воздух:

— Хорошо сегодня. Очень хорошо. А как же чудесно, что ты приехал. А то ты знаешь, брат, я тут совсем заикась стал. Дожди ещё были, а тут солнышко — и вот ты. Как хорошо!

Гость бережно погладил краешек скатерти.

— Я когда-то за этим столом с отцом Николаем разговаривал... Он мне тогда много чего рассказал. Всё так и сложилось. Надо же...

Отец Василий всё ещё стоял у окна, гость посмотрел на него:

— Что это было, Вася? Ну, тогда, когда мы решили пойти в учителя... в сельские учителя... — отец Василий молчал. — Наивность? Глупость? Ты посмотри, — оживился гость. — Ведь каждого потом судьба всё равно повернула... — он помолчал. — Я признаюсь: особо я и не хотел ехать. Так, поддался вам: вы, мол, так, ну и я? Что это, гордость? Показать, что я не хуже. Я же так и думал тогда — год отработаю и сбегу. Как мама тогда

восставала! И ты знаешь, это тоже ведь меня подстегнуло, хотелось наперекор. Если б она тогда сказала: ладно, Тёма, езжай, я, может, и не поехал бы... А так... И смотри: только Ваня из нас троих и остался учителем...

— Он директор сейчас. Уважаемый человек, — сказал отец Василий и вздохнул, словно позавидовал чему. — Давай, — он подошёл к столу. — Давай за нас, всё-таки для чего-то это надо было. Господь вёл. Ты же не скажешь, что всё было впустую? — потом продолжил: — Господь ведёт. И только от нас зависит: впустую сложится или нет... Хотя опять же никаких случайностей нет. Вот так, Тёма. А для меня так вообще промысел... Чудо, настоящее чудо. А чудо это, брат ты мой, не случайность.

Отец Василий впал в молчание, и Тёма попытался вернуть собеседника:

— А как ты тут вообще живёшь? Я так смотрю: ты один? Где Таня? Катя? Или ты в монахи подался?

Отец Василий отмахнулся.

— Какие монахи... А Таня... Тут как раз и вышло так, что по-человечески объяснить ничего невозможно. Никакой логики. В Православии вообще привычная логика отсутствует. Но всё, что для мира безумие, то у Бога правда... Принять трудно, объяснить тем более, тут только вера. Вот мы решили поехать в село учителями. Я сейчас подумал, что если бы мы не втроём так решили, то сам бы я тоже до такого не додумался: всё-таки семья, дочка только родилась... Но Таня, к удивлению, восприняла эту новость спокойно. Тут ведь и в городе такие страсти начались, что от всего хотелось куда-то бежать, спрятаться. Мы, наивные, думали, что в селе легче, что там всего этого нет. А этот ужас везде проник. И по селу он ударил, может, даже сильнее, чем по городу. Ну ладно, она согласилась. Только решили, что сначала я поеду, обустроюсь, а потом их перевезу. В селе-то ведь ещё и жильё обещали, может, и свой угол для неё значение имел. В общем, поехал. Приезжаю, лето, жарко, пыльно... Сначала меня к одной бабке подселили, вроде как временно. А бабка, баба Надя её звали, меня сразу в храм направила. Больше, мол, всё равно идти некуда, я пошёл: думаю, надо же знакомиться с местными обычаями. А храм старинный там, только на несколько лет перед войной его закрывали, а в конце войны снова открыли. И вот захожу я в храм — и так мне хорошо стало. Просто не сказать, как хорошо. Это сейчас я начитанный, могу сказать: наверное, так хорошо, как Павлу, когда он на третье небо понал, но тогда-то я про третье небо не знал, а просто мне хорошо. Сел на лавочку и никуда уйти не могу. Сидел и сидел бы. Тут у меня сами собой слёзы полились. С чего — сам не знаю, хорошо — вот и плачу. От радости. Тут батюшка появился. Тоже радостный такой. Отец Виктор звали. Взгляд у него очень добрый, на меня так никто не смотрел, даже мама. И не старый ещё, лет на десять меня постарше. Про возраст тоже после узнал, а тогда-то он мне древним показался, как храм. И вот я ему всё рассказывать стал. А он слушает и кивает... Спрашивает: а ты некрещённый, что ль? Я аж удивился: а ведь и правда — некрещённый. Вот завтра тебя, говорит, и покрестим. Ну, как только утро — я снова в храм. И баба Надя со мной — она, стало быть, в крёстные. И отец Виктор уже ждёт. Так и покрестил. И мне уже никакой школы не надо — только бы в храме быть. Ну, и пошло. Я прислуживать начал. А отец Виктор возьми и предложи мне в семинарию поступать. Образование, говорит, у тебя есть, а за месяц я тебя подготовлю. У меня весь этот месяц было такое состояние, что я продолжаю плакать. Явно-то слёз не лилось, а чувство оставалось, и я всё время глаза тёр. Так оно и вышло. Как уж удалось всё со школой разрешить, даже не помню: всё, казалось, отец Виктор делал, а я как будто в облаках. Ничего не соображал, вот ведёт меня и ведёт. И понимал: только не сопротивляться. Это самое счастливое время было. Ничего подобного с тех пор со мной не случалось. И не знаю: случится ли? Я так понимаю, Господь показал, как оно может быть, когда с Ним в одной воле живёшь, и вот, мол, запомни это, а дальше сам. И вот когда сам... Вот тогда ужас и начался. Это похлеще всякой перестройки. Тут не страну, себя перестраивать надо. Вот когда я понял, что без Бога я ничто. Но тот месяц для меня — свет. Он был, он есть — я помню. Ну вот, приехал я в город — и началось.

Жена-то сначала не поняла, что я документы в семинарию отнёс, думала, шучу. А когда дошло, такое пошло... Сейчас-то понимаю, что чистая бесовщина была. Это бес через неё на меня давить начал. Да что там давить... Это даже не давить, это был настоящий ад. Она ведь даже дочкой угрожала. Представляешь, убью, говорит, себя и ребёнка. А я только молось, больше ничего. И вот, ты знаешь, когда она до такого дошла, ну, что ребёнка убьёт, я вдруг успокоился, уверенность почувствовал: Господь не попустит, и что Катя совсем ни при чём, а это уже точно бесовщина. Как я за неё молиться начал, такая молитва была... Больше такой молитвы и не было никогда... Я уже в семинарии жил и даже на улицу выйти боялся. Чего она только не делала, куда только жалобы не писала, но что замечательно: никак не могла к семинарии подойти. Мне братья говорят: твоя, мол, за углом опять стоит, а шага сделать не может. Что вот с этими бабами случается?.. А я как отделённый от мира жил. словно для меня мир оказался за стеклом. Я вроде его вижу, но прикоснуться не могу. Только переживать за него. словно я впрямь умер для мира. Потом-то успокоилось всё... маленько успокоилось. Ну, я и с дочкой виделся. Катю больше всего жалко. Она ж не понимает ничего. Так вот... нас тогда, тех, кто уже образование высшее имел, по ускоренной программе готовили. священников-то не хватало, да и сейчас не хватает. Храмы открывать стали, те, что совсем не порушили, восстанавливают, где новые строят, а кому служить-то? Так что я, можно сказать, необразованный поп-то... Жизнь учит. А как учить, как не через искушения? Без искушений ничего о себе не узнаешь. Без искушений так и будешь думать, какой ты хороший и правильный. Я сюда когда приехал, всё поначалу чудесно складывалось. Я даже думать стал, что это Господь воздаёт мне за то, что претерпеть пришлось. А оказалось, всего лишь передышка... Настоятелем тут тоже очень славный батюшка был, но он уже на покой собирался, матушка у него упокоилась, а сын в монастыре в соседней области чуть ли не правая рука игумена, вот он его к себе и забрал. Но хорошо мы тут с ним немного послужили. Он хоть чему-то научить успел. Ну, и через него меня на приходе нормально приняли. Но вот остался я один, и тут повело меня: такая, брат, тут девка чудесная есть! То есть, прости, Господи, не девка, конечно, девушка, что я... Давай-ка, а то сейчас страдать начну... Фух... Ну вот... девушка, стало быть... А я, значит, уже сколько без девушек-то... Я даже удивляться начал: вроде здоровый мужик, а не тянет. Ну, думаю, видимо, Господь изъял сию страсть, может, и правда к монашеству готовит, ещё и возомнил: вот как Господь обо мне печётся — и из мира вытащил, и от плотской страсти избавил, наверное, такой я особенный человек. И только я так о себе подумал, как лукавый хватъ меня за самое то. Как же корёжило меня! Я ж, как школьник, у неё под окнами ходил, лишь бы тень её увидеть, поводы всякие искал, только бы в дом к ним зайти... Меня мать её спасла. Решительная женщина. В один из моих заходов вы проводила дочку под каким-то предлогом из дома и давай меня уму-разуму учить. И возразить-то нечего. Сижу, как пришибленный. Проямлил только: не могу, дескать, справиться, это выше меня. А она: выше Бога никого нет, нечего на Него переключивать. Говорю: я молился, просил, чтобы это оставило меня. А она: молился, а сам-то, поди, держал в себе мыслишку. И ведь точно: держал. Тут я возмутился: так что же в этом плохого, если люблю, я и жениться готов. А она: ты человек женатый, у тебя дети есть. Меня же совсем понесло: разведусь, говорю, да и невенчаные мы. Тут она руками всплеснула: да как ты не понимаешь, ты же — ба-тюш-ка! Так по слогам и сказала: ба-тюш-ка... Я голову опустил: что ж, говорю, уезжать мне? Она мне уже спокойно: это не поможет, другую встретишь и то же самое начнётся, это тебе Бог тебя показывает, какой ты на самом деле, и даёт возможность исцелиться... хотя бы от этого... и хорошо, что ты Любу встретил, а попадись другая...

— Любу? — переспросил гость.

— Ну да, Любу. Дочку её Любой звали, — отец Василий не обратил внимания, как пристально посмотрел на него собеседник, и торопился закончить: — Как же быть, спрашиваю? Самому человеку, говорит, невозможно,

только Богу — молись. Тут я совсем приуныл: знаю же, какой из меня молитвенник — никакой. Слова-то, может, и знаю, даже наизусть знаю, а самой-то молитвы нет. Редко когда найдёт... вот именно — найдёт, это она, молитва, тебя находит, а ты только должен удерживать её и даже не должен ничего пытаться, а только пребывать в ней. Это мне сейчас так кажется, а как оно на самом деле, не знаю... Только такие мгновения редки, — отец Василий глубоко вздохнул.

Наступило долгое молчание, когда хорошо молчать и думать о чём-то своём, и не переживать за собеседника. Первым, видимо, на правах хозяина очнулся отец Василий.

— Ну, давай... Так вот... Фух... Мы тогда тоже вот так помолчали, а она мне потом спокойно уже говорит: займись чем-нибудь. Чем я тут могу заняться, спрашиваю? Сделай что-нибудь для людей. Здесь, на земле, рая мы не построим, но хоть немного утешения... А мы, говорит, так и сказала: мы — будем за вас молиться... И ты знаешь: вот последние слова её зацепили: не про то, что они молиться будут, а про построим... Пошёл в свою келью, а в башке крутится: построим, построим, построим... В храм зашёл. Честно рассказываю тебе, слышишь. Как оно было, так и рассказываю. Взял акафист Богородице. Стал читать, а вместо этого: построим, построим, построим... Что читаю, вообще не соображаю... Такой из меня молитвенник, и я с досадой, когда дочитал, акафистник захлопнул и пошёл из храма. И тут как опять шибануло: так вот же за храмом как раз и пустое место есть: построим, построим, построим! Только теперь увереннее зазвучало и словно уже не в башке, а вокруг меня всё это говорится. И сам я весь в этом “построим, построим”. Ещё не знаю, что построим, а смотрю на это пустое место и уже знаю: точно построим! Меня аж затрясло всего, как в самолёте, когда в зону турбулентности попадаешь. Добрался до дома, свалился в постель, даже правило вечернее читать не стал, перекрестился, Серафимову молитву помянул и вырубился сразу. Очнулся совсем другим человеком: словно кто завёл меня. Это я сейчас так рассуждаю, когда время прошло, а тогда проснулся и будто уже знал, что делать. Словно не только завели меня, но и повели, и мне только надо не выпасть из этого потока. И такая уверенность — ты не представляешь, вот сейчас скажу горе “сдвинься” — и будет. Слава Богу, гор у нас тут нет. И ведь, поднявшись, я эту богдельню так и увидел. Вот словно сейчас выйду, а она уже тут и стоит. Вышел: ну, пустырь, конечно, как был, так и остался, но я всё равно всё вижу. Вижу, и где какие комнаты будут, и как бабушки в трапезной после службы собираются, вижу, как деткам Закон Божий читаю... О! Школа! И понесло меня к Ивану. А я и не стал противиться, благо, он тут в соседнем районе. Он не зря так в сельскую школу рвался — как раз по нему оказалось: он немного поучительствовал, потом полгода в завуча походил, тут его директором и назначили. У них район побольше, там две школы, его назначили в первую, потому как она совсем дореволюционная, а стоит всё, и он вроде как начал её здорово обустраивать. Приезжаю. Обнялись. У него и правда там мощная стройка идёт. Он старое здание облагородил уже — там у него только начальная школа будет, а рядом новую достраивает. Показал он мне, где и что. Я хожу, завидую и всё выспрашиваю, как такие чудеса в наше время возможны? А он улыбается: это, ты, мол, по чудесам специалист, а про реальность дома. Пришли к нему домой. Ему и квартиру там неплохую подобрали, и жена у него беременная ходит, в общем, вот где рай-то. “Венчались?” — спрашиваю. “А как же”, — отвечает, и всё улыбается, только это ещё до твоего поповства, у нас тут свой храм, а вот на крестины — приезжай. Ладно, говорю, рассказывай, откуда такое счастье, а главное — как с новой школой стройка получается, неужели государство расщедрилось? Махнул он рукой небрежно так, видимо, в сторону государства, и позвал меня на кухню, а там... Стол с белой скатёрочкой, а на нём всякой деревенской закуски, аж глаза разбегаются, и в центре — запотевший графинчик. Заметь: не простая бутылка, а именно графинчик. И рюмочки аккуратные, хрустальные. И супруга его рядом стоит, улыбается. Я только

руками развёл. А он мне: вот так и живём, и добавил: и не ждём тишины. А я, когда уже домой добрался, понял, как он прав: я-то всё покоя и тишины искал, а мы-то здесь не для лёгких путей... Но это потом дошло, а пока сели мы, выпили, я к нему опять с расспросами, а он: ты закуси сначала. Ну, выпили мы ещё, а потом уж он колотья начал. Оказалось, что это вовсе не он молодец, а школу эту старую заканчивал один заслуженный-презаслуженный генерал, и о нём особо не говорили, потому что служил он в секретных структурах, а сейчас отправили на покой, и он где-то на дачах рыбу ловит... И вот этот “не молодец Ваня” того секретного генерала разыскал! Оказалось, что он не в Москве, а в наших краях рыбу ловит. И написал ему Ваня письмо: так, мол, и так: дряхлеет школа, давшая вам путёвку в жизнь. И генерал приехал! Может, конечно, и рыбу ловить наскучило, но родину не забыл! Так и стонулось дело. Он теперь у них главный попечитель, за ним, естественно, очередь выстроилась — в общем, пошёл процесс. Тут, впрочем, и не в одном генерале дело, а, конечно, в Ване. Это он не ждёт тишины, он центр всего, а уже рядом с ним никак нельзя оставаться покойным и равнодушным. Тут я несколько загрустил, потому что сам-то я таким зажигательным человеком не являюсь, и говорю: вот мне бы такого генерала. Во мне ещё старое сознание жило, что не каждый человек создаёт мир вокруг себя, а мир делает человека. Не грусти, говорит Ваня, всё образуется, и тут звонок из прихожей: пришёл кто-то. Пошёл Ваня встречать и возвращается с таким невысоким грудастым мужичком, похожим на бочонок от лото. И вид у Вани немного удивлённый. “Вот тебе, — говорит, — и генерал. А мы тут, Николай Георгиевич, только что вас вспоминали”. “Это хорошо, — говорит Николай Георгиевич и кивает то ли на стол, то ли на меня: — За наших?” — спрашивает. “За наших”, — отвечаю. “Ну, тогда наливай”. Так я познакомился с генералом.

Отец Василий выдержал паузу.

— А у генералов, брат ты мой, не забалуешь: раз впрягся — тяни. Вот так оно всё и потянулось... Я, конечно, понимаю, что всё это Господь, и что генерала Господь послал, и что люди вокруг, и вообще... Э-э, да ты и не слушаешь вовсе, ты где?

Артемий встряхнулся, склонил к плечу голову и странно, словно еле сдерживал смех, посмотрел на отца Василия. Потом продекламировал:

— Итак, она звалась Любовью!

— Кто? — не понял отец Василий.

— А, — Артемий махнул рукой и снова обмяк.

— Ну? — после некоторого ожидания спросил отец Василий.

— Вот тебе и ну, — и Артемий вроде весело взмахнул рукой: — Жизнь! — но получилось дурашливо, и он снова опустил глаза в стол: — Жизнь — это любовь! Так ведь?! А, батюшка? Но ведь так хочется, чтобы это было взаимно... — Артемий покачался из стороны в сторону, словно впадал в загадочный транс, и тихо, словно и правда пребывавая в трансе, произнёс: — Я ведь жуткий эгоист, Вася...

Отец Василий тоже склонил голову, словно соглашаясь с этим, Артемий посмотрел на него и усмехнулся:

— Ну да, ты знаешь... А что такое эгоист, Вася, ты знаешь? Это ведь не просто человек, который любит себя и делает всё ради себя. Это же болезнь... Как алкоголизм... Видишь, даже слова похожи: эгоизм — алкоголизм... Но эгоизм хуже: алкоголик ищет, как бы утолить поселившуюся в нём страсть, а эгоисту ничего внешнего для утоления искать не нужно: всё в нём. И если поначалу заразившийся эгоизмом человек может казаться вполне милым, потому что хочет нравиться, хочет подтверждения своего статуса у окружающих, то со временем окружающие начинают раздражать. Даже если они будут подтверждать этот статус и носить на руках, всё равно раздражение будет расти и в конце концов приведёт к ненависти, к желанию всё уничтожить. Знаешь, как: чтобы все вокруг умерли, а остался один я. Я, разумеется, с большой буквы. А всё потому, что нет любви. Даже к самому себе нет любви. Есть только страсть, чтобы было всё по-моему. Слово этот мир создан мной, и невесть откуда взявшиеся жалкие человечки

только раздражают и мешают... Сначала я не понимал, какая зараза поселилась во мне... Но чувствовал, что что-то не то происходит внутри меня, копится нечто противное, и я не умею противостоять этому. На последних курсах мы все были увлечены открытием истории России, а тут ещё тысячелетие христианства... Всё это притягивало и заглушало растущее во мне неприятие окружающего. К тому же я так и думал, что это неприятие конкретно того, советского, мира, от которого все хотели избавиться. Поэтому я согласился тогда с вами бежать из города. Мне казалось, что, оказавшись среди народа, я смогу обрести равновесие. О, как же я возненавидел этот народ за один только год! Всё раздражало меня — от сортира во дворе до памятника Ленину на площади, — а больше всего, что всем было абсолютно наплевать на то, что происходит в стране. А ведь я тут пытался примкнуть к церкви. Я приходил на службы, беседовал вот тут же, в этом доме с отцом Николаем, но службы стали казаться мне такой же обязателькой, как партийные собрания, я видел только старательно крестящихся старух и страшно пугающихся, если ты вдруг передавал свечку левой рукой, а не правой. А отец Николай... Он славный, но он говорил одно и то же: молись, Бог не оставит тебя. Я пробовал читать правила, но почему-то, когда я начинал читать, в голову начинали лезть совсем другие мысли, вроде бы и правильные и интересные, например, я вдруг начинал думать о Солженицыне или о какой-нибудь речи в Верховном Совете, или ещё о чём-нибудь, и меня озаряли яркие откровения: вот так, мол, надо бы, а тут вот так, а это он правильно сказал, а тут не договорил, и я понимал, что это уже никакая не молитва, я бросал молитвослов и ложился читать какую-нибудь книжку... Впрочем, был и для меня, наверное, спасительный путь: была тут одна девочка... Очень чистая и светлая девочка... Ах, если бы она не была моей ученицей! У меня даже мелькали мысли остаться тут: она окончит школу, я бы женился на ней, научился бы разводить кур, делать болтушку для поросят... Меня ведь хотели тут женить, сразу взялись, но я сбежал. Полный ненависти и презрения.

Я теперь знаю, как происходят революции. Их делают как раз те, кто ненавидит себя, только боится признаться в этом, и ненависть выплёскивается в окружающий мир. Человек должен изменить себя, но это очень страшно. Страшно вдруг попытаться стать другим. Представь, курил человек двадцать лет, и вдруг ему говорят: бросай! Да как же я без курева?! Бывают, конечно, случаи, но чаще всего это смертельная угроза или, если хочешь, чудо, но большинству страшно не то, чтобы изменить себя, а изменить привычкам. И кажется, что это внешний мир виноват, что я такой гадкий. А человек ведь чувствует, что он гадкий. Не может не чувствовать. Но переносит всё на окружающее, и получается, что если этот мир ликвидировать, то и сам сможет стать другим. И можно будет не бросать курить. И вот пошло-поехало... Люди думают, что они разрушают внешний мир, а они продолжают разрушать себя. Потому что не понимают, что они и есть часть разрушаемого мира. И ведь кто-то же этим руководит. Я тогда не понимал, а теперь уверен всё больше, что эти толпы готовых на разрушение людей незримо направляются туда, куда нужно этим стоящим над. И Горбач, и Ельцин — те же самые куклы, часть толпы, слегка высунувшиеся над всеми. Потому что кому-то надо вести толпу. Никто из них не самостоятелен, более того, они, может, более несамостоятельны, чем мы. И это “мы” состояло из таких, как я. Мы носились по городу и раздували угли, где только могли. Знаешь, у японцев придумали способ гасить злобу: ставят куклу начальника, и любой подчинённый может подойти и поколотить её. А для нас такой куклой стала Россия. Но кто тогда это понимал? Апогеем нашей революционности стали дни путча. Мы тогда забаррикадировались на одной телекомпании, и когда везде шло “Лебединое озеро”, наш канал передавал последние новости из Москвы и призывал народ к сопротивлению. Сейчас-то я прекрасно понимаю, что сломать эти игрушечные баррикады, арестовать нашу горстку, да просто заглушить телеканал было пустяковым делом, но почему-то никто этого не сделал. Менты постучались, погрозили, но без особого энтузиазма, с нами пытались вести переговоры через мегафон, но тоже

лениво. В общем, через пару дней мы вышли из своих щелей героями. Я пребывал тогда в безумной эйфории. Я сам восторгался собой. Тогда я говорил: я знаю, как сделать вашу жизнь лучше, вы всё равно ничего не смыслите. Меня поманили в Москву. И я очертя голову полетел туда... Полетел... Там, на высоте, и случилось... В самолёте в соседнем кресле сидел интеллигентный дядечка с бородкой, вежливо так поприветствовал, достал книжку, и я мелком углядел необычный шрифт вязью, усмехнулся: мол, церковная какая-то, а я уже про церковь усмехаться стал, мол, и правда дело только в упёртых старушках. Ну ладно, я тоже свою книжку достал, читаем, и вдруг, когда уже подлетали к Москве, раздаётся хлопок, да что хлопок — взрыв, нас подбросило, и все разом увидели, как загорелся двигатель под левым крылом. Все увидели, даже те, кто сидел далеко и с другой стороны, — все. Что тут началось... Эти несколько секунд я могу описывать часами... Чуть ли не про каждого пассажира рассказ, да что там — повесть рассказывать. И у каждой повести был один конец: всё — кранты. И вся эта бездна, разверзшаяся под самолётом, стала осязатима всем своим холодом и ужасом. И тут меня поразил сосед с бородкой: он, откинувшись на спинку кресла, едва заметно шевелил губами. Казался совершенно спокойным, будто всё идёт, как и должно идти. Как же я пожалел в тот миг, что не могу молиться. Я попробовал, но не мог. Меня словно связал кто. Это было не оцепенение, а именно связанность. Я руки поднять не мог, хотя очень хотел перекреститься, но не мог. И тут самолёт ухнул в пожирающую бездну. Это все почувствовали, потому что слишком резко он падал, вскочившие со своих мест попадали в проходах, кто сидел, вцепился в ручки кресел, и все замерли. В голове даже не зазвенело, а сдавило так, что захотелось, чтобы быстрее всё кончилось. Изнутри кишки выворачивало. И вдруг всё стихло. И отпустило. Я почувствовал, как отпускает голову, она словно растекалась и принимала прежнюю форму. И полная тишина. Слышно, как ровно урчали двигатели. Это было так неожиданно: я даже, когда опять смог ображать, подумал, что уже всё — мы умерли. А мы летим. И никакого пламени не видно. То ли резкое падение его потушило, то ли ещё что, но самолёт летел. Я поднял руки и увидел на подлокотниках дырки — следы от моих пальцев. Смотрю, а дядечка как сидел себе с прикрытыми глазами, так и бормочет что-то. А я подумал: ну, здравствуй, Москва. А уж что в Москве... Куда там меня не мотало... А кончилось... кончилось всё чёрным октябрём. Впрочем, до этого случился эпизод, который мог развернуть всё, но я прошёл мимо. Вернее, не понял его смысла, потому что продолжал слушать только себя. Я тогда совсем запутался. За год куда меня только не прибывало. Лёвые-правые, ельцинисты-хасбулатовцы, но вся эта путаница происходила опять же от внутреннего смятения, от того, что всё входило в меня и вызывало только большее раздражение и ненависть, я чувствовал, что скоро взорвусь. Я уже на людей орать стал, меня трясло только от одного предчувствия, что надо спуститься в метро. Поэтому я стал ходить пешком. И вдруг я собрался и поехал в Троице-Сергиеву лавру. Как это случилось, что меня сподвигло — ничего не могу объяснить. Просто встал утром, быстро оделся и поехал на Ярославский вокзал. Была середина сентября. В Подмосковье это великолепное время, а тут ещё — лавра. Пока я шёл до неё с электрички, то уже покой и умиротворённость начали укачивать меня. А когда увидел её, ещё издали, со взгорка, окатило всего, словно ведро воды вылили, но нет, не воды, то было нечто невещественное, но так же разом накрывающее и проникающее внутрь до самых кровяных токов... Я постоял немного и потихоньку стал спускаться. И, наверное, впервые почувствовал даже не страх, а величие того, к чему подступаю, и вместе с тем свою мелкоту, а когда подошёл к стенам вплотную, то совсем сник: кто я перед вечностью? Что я пытаюсь изменить в многовековой Руси, которая стояла и будет стоять, несмотря на все мои потуги... И я вошёл внутрь... Лавра тогда реставрировалась и была вся в лесах и заборах, но от небольшой дверки, как бы даже угловой, неприметной, которую скорее можно было принять за служебный вход, виднелся хвостик очереди. Это был как раз Троицкий собор. Но я и не знал тогда, просто встал последним, так хорошо было стоять

со всеми в тихой очереди, где никто не бранился, не спешил, не дёргался, и очередь сама собой текла, как река. Вот я уже внутри, вот Сергей... И опять та волна, окатившая на взгорке, коснулась меня: вот лежит человек, собиравший Русь. Который, в общем-то, и не думал никого спасать, он просто молился, и всё вроде складывалось само собой, а он здесь, в лесу, как бы и в стороне, но что была бы Россия без его молитвы, да и была бы?.. А я? Я даже молиться не умею. То есть я могу читать молитвы, я даже пробовал вычитывать разные правила, но это лишь слабое подражание молитве. Конечно, ты скажешь, что надо хотя бы с этого начинать, и отец Николай так говорил, но хочется же всего сразу: подвигов, чудес, славы... Тут меня слегка подтолкнули: мол, застоялся у старца. Я приложился, перекрестился и отошёл. Мне хотелось побыть ещё там, в этом маленьком помещении, пусть не у самого гроба постоять, но хотя бы у стеночки, так ведь хорошо споткнулся на своих мыслях, и показалось, что вот-вот, ещё немного, и у меня получится, я смогу обратиться к Богу, ну, или хотя бы к старцу, но поток вынес меня... И так же ещё думая о своём, я в этом потоке оказался в большом просторном помещении, которое больше походило не на храм, хотя были и росписи, и купол, и иконостас, а просто на огромный зал. Я тогда не знал, что это Трапезный храм. Он был почти полон, но тесноты не было, все стояли рядками и старались не задевать соседей. Шла служба. Запели "Верую". Я наизусть текста не знал, но невольно стал подпевать и сам удивлялся, откуда у меня выходят слова, то ли я их угадывал, то ли они всегда были во мне, но я пел вместе со всеми! Это было удивительное чувство единения, что мы все здесь, нас так много, и все мы веруем во Единого Господа Иисуса Христа. И я со всеми. И все ведь наверняка тоже чувствуют ту волну, окатившую меня. Мне хотелось петь и петь, но служба пошла дальше, а я теперь ждал, пока запоют "Отче наш", которую я точно знал. И тут я уже старался петь во всю силу и радовался, как хорошо у меня получается петь, даже, кажется, перестарался, потому что на меня удивлённо обернулась стоявшая впереди женщина. Но больше никто не отвлекался на меня, а потом случилось... Случилось то, что до сих пор труднообъяснимо для меня... Вынесли чашу, и все упали на колени. А я — нет. Почему? Почему? Почему? До сих пор не понимаю. Конечно, дело не в том, что побоялся испачкать джинсы, хотя я бросил взгляд на осенний пол, ну и что? Я оглянулся: нас возвышало над склонившимися людьми человек пять-шесть. Мы торчали, как столбы в поле. И мне так захотелось встать на колени, но я уже не мог: раз уж остался торчать, так чего теперь. Я едва не заплакал: ну, почему, почему я не могу встать на колени вместе со всеми? Почему я не могу быть как все? Что со мной? Народ поднялся и пошёл к причастию, а я остался тем же столбом. Потом меня опять едва ощутимо подтолкнули, и я, подойдя к священнику, поцеловал крест и вышел из храма. Сразу вышел и из лавры, словно исчерпал себя. Я уже не чувствовал той благодатной волны, она откатилась и не возвращалась, а пришедшее вместо неё "почему" не оставляло меня. Я купил бутылку пива, обошёл лавру, перешёл шоссе и поднялся на откос в пожухлой клочковатой траве. Сел, даже не подумав, что тут-то я джинсы точно испачкаю, открыл бутылку и долго смотрел на лавру. И охватившее "почему" в разных вариантах не отпускало меня. Как же хорошо пелось "Верую", и как же я не смог стать со всеми на колени? Но я начал понимать, что причина во мне, только никак не мог сообразить — в чём? И тогда же пронзило: надо уезжать. Это снова было похоже на бегство, но после того, как эта мысль возникла, я успокоился, допил пиво и отправился на электричку. Но так просто убежать из Москвы не удалось. Там я снова попал в водоворот страстей и бунта против всех и вся. Приближался "чёрный октябрь". И совсем немислимым образом я, который два года назад боролся за демократию, теперь оказался по другую сторону баррикад. Да, я был на "Баррикадной". Но во мне уже не было той злости, которая распирала ещё несколько дней назад, до поездки в лавру. Я стал задумчив, причём, спроси, о чём я тогда думал, я и не скажу. Меня окликали товарищи: эй, ты чего? А я только мотал головой и шёл за всеми. А там, в толпе, её электричество снова пронзало и питало меня. И я становился частью наэлектризованного

сгустка, из которого невозможно вырваться: электрическое напряжение действовало как магнитом. Это, знаешь, как сгусток электрических разрядов, и этот сгусток только ждёт и даже жаждет встретиться с таким же сгустком, только с противоположным знаком. Говорят, что подобное притягивает к себе подобное... Ты слышишь, сколько мягкости в этом слове: при-тя-а-гивает... Но крайности ищут друг друга, они несутся навстречу противоположностям с бешеной скоростью. Чтобы при столкновении погибнуть. Это своего рода самоубийство. И это самоубийство совершается ради того, чтобы уничтожить скопившийся в себе заряд, пусть это и грозит гибелью всего. Но иногда этот заряд достигает крайней точки, и тогда ты уже не можешь терпеть, особенно если окружён такими же заряженными частичками. Это случилось на “Баррикадной”. Я не знаю, кто первый выстрелил или просто кинул камень, хотя и выстрелы были, но я не знаю, кто стрелял: мы, они ли — это неважно, важно, что мы оказались по большому счёту не готовы, что милиция поведёт себя так агрессивно. Нас начали колотить дубинками с такой ненавистью, словно подвыпивший молодняк, поймавший в тёмном сквере мужика, не нашедшего закурить. Нас и правда было меньше, их заряд оказался сильнее. Когда нас стали вдавливать в метро, началась давка. Этой давке уже никак нельзя было сопротивляться или как-то влиять на неё, к тому же ещё эти выстрелы... Сдавило так, что я вспомнил самолёт, когда кishки наружу выворачивало. Тут ещё на входе в метро налетели на турникеты, и меня больно шваркнуло ногой об один из них, но странно: от этой короткой битвы я словно получил ещё больший заряд и на следующий день, несмотря на боль в ноге, отправился к мэрии. Там снова была толпа и стояли плотно, сжавшись, плечо в плечо — совсем не так, как несколько дней назад было в лавре. Тут вообще всё было не так — никаких волн, только электрический заряд. Я ничего толком не понимал, что происходило, только участвовал в общем колыхании, тоже была стрельба, потом толпа ломанулась к Останкино. Все что-то кругом кричали, все были возбуждены, и никто не хотел мира. Никто. И вот где-то уже на подходе меня пронзило откровение: что же будет? Это же конец! Я опять вспомнил самолёт и ужас падения. И тут я действительно упал! Обо что я споткнулся, даже непонятно — я просто упал. Толпу остановить невозможно, и она прошла по мне катком. Нет, меня пытались перепрыгивать, как-то обходить, но всё равно несколько раз наступили и один раз сурово на щиколотку, и на ту же болевшую со вчерашнего дня ногу. Когда появилась возможность, я отполз в сторону и привалился к стене дома. Я реально плакал. Но не от боли, а от того, что не могу идти дальше со всеми. Минут через пятнадцать меня подобрали и увезли в больницу. По дороге я потерял сознание. Это меня спасло, потому что ко мне не приставали, не допрашивали, а взялись реально лечить, и вот когда я пришёл в себя, мне стало по-настоящему страшно. На следующий день, как я вышел из больницы, собрал вещи, да у меня особо и собирать было нечего, и уехал. Я опять бежал... И вот теперь сижу с тобой... Даже не верится, что всё это было со мной... В конце концов, всё могло кончиться не так благополучно, а так — лишь немного хромаю... И всё продолжаю бежать...

Артемий замолчал. Отец Василий, наконец, поднял голову.

— Ну, почему “бежать”, может, ты возвращаешься...

Артемий хмыкнул.

— А так что сказать тебе, — отец Василий вдохнул воздуха, которого, казалось, так не хватало, пока говорил Артемий, расправился и неожиданно весело произнёс: — Счастливый ты человек, даже завидно, ей-Богу...

— В смысле? — Артемий растерянно посмотрел на отца Василия.

— Кто-то сильно молится о тебе. Есть у тебя, стало быть, молитвенник. Это же великое счастье. Только ты не злоупотребляй, ты прислушивайся к этому голосу, который молится за тебя. Он очень сильный. И ты слышишь его, но просто не знаешь, откуда он, потому не веришь. А он есть, и я скажу тебе...

В дверь постучали.

— Это ещё кто? — осёкся отец Василий и, поднявшись, направился к двери, загораживая своей могучей фигурой стол. — Войдите.

Дверь открылась.

— Люба? — ещё больше удивился, но сразу и обрадовался отец Василий. — Случилось что-нибудь?

Люба, не переступая порог, глядя в пол, тихо сказала:

— У вас окно открыто.

— Окно? — отец Василий обернулся. — Ну да, окно, на улице теплынь, хорошо...

— Так ведь слышно всё...

— Шумим? Так это мы на радостях, давно не виделись, вот товарищ приехал...

Люба подняла глаза.

— Здравствуйте, Артемий Андреевич.

Артемий уже стоял и всё время, что она говорила с отцом Василием, неотрывно вглядывался в вошедшую женщину, и на лице Артемия отражались то радость, то непонимание, то трепет...

— Люба... — произнёс, наконец, он, и теперь отец Василий странно посмотрел на друга, а потом на Любу. — Как... как ты похорошела... то есть выросла... повзрослела... — Артемий продолжал неотрывно смотреть на неё.

— Так вы знакомы? — спросил отец Василий затвердевшим, словно на морозе, голосом.

— Артемий Андреевич был учителем в нашей школе, — ответила Люба.

— М-м, — протянул с тем же морозом отец Василий и спохватился: — Да ты проходи.

Люба покачала головой.

— Помер, что ли, кто-нибудь? — предположил отец Василий.

Люба опять покачала головой.

— Уже хорошо. А что?

— Вам с администрации телефонограмма пришла.

— О как! И как же она пришла, если у нас телефона нет?

— Тётя Валя принесла. Вот, — и она протянула листок.

— “Приглашаем Вас на совещание по подготовке к отопительному сезону. Завтра в десять часов. Председатель...” Я-то им на кой?

— Не знаю. Может, потому что нас подключили к центральному отоплению. Я пойду. До свидания... Артемий Андреевич.

— До свидания, — эхом отозвался Артемий, и дверь за Любой закрылась.

Отец Василий вернулся к столу.

— Да садись ты, — махнул он гостю. — Значит, говоришь, это твоя ученица?

— Это как раз и есть та девушка, свет которой не давал мне окончательно превратиться в злобного карлика. Увижу её в школе, на уроке — и всё тает, раздвигается... Думаю, раз такой свет есть, значит, не зря всё. Ради одного этого света, может, и стоит жить. Вот ведь, думал я: будет чьей-то женой...

— Нда-а, интересно... А ведь эта Люба как раз та и есть, на которой я жениться хотел. Вот как оно выходит... Но мы с тобой уже не конкуренты: Люба-то, слава Богу, замужем.

— И кто счастливчик?

— Тут тоже не без Божьего промысла. К ней вроде и не подступался никто, побаивались, что ли, то ли её матери, то ли сама она так явно казалась нездешней, что смысла никакого посягать на нездешнее не было: со своими-то проще. Вот одна и жила, а тут вернулся из армии её одноклассник — Виктор.

— Сапрыкин?

— А ты откуда... ах да, одноклассник же, тоже, стало быть, ученик. Вот воспитал, как говорится, ученика — теперь учишь...

— Нда, хулиганистый парень был, но с характером и, в общем-то, правильный, в семье у него неладно было.

— Да у кого тут ладно... Пьют и пьют уже как-то безнадежно. Такое ощущение, что не самогонка всех косит, а другое. Словно болезнь какая нашла, похуже чумы, потому как не видно её. Сейчас все вот рака боятся,

а тут пострашнее. Сейчас мужик какой стакан выпьет — и уже пьяный в-смерть. Ну, как так... У нас-то на стройке не пьют, а за ограду выйдут... Что я могу сделать... А, кстати, Виктора ты на стройке мог видеть. Он там с костылём строит всех. В армии в десантуре был. Попал на войну. Там наступил на мину — оторвало ногу. Вернулся и забухал по-чёрному. Поначалу кочевряжился тут... К церкви подойдёт и давай всякую похабень орать. Я выйду, а он развернётся и скок-скок на костыле своём. И смешно, и грустно. Потом всё хуже, уже сил, видать, на вышендрёж не стало, и постоянно где-то по канавам, то под заборами валялся. Поначалу дотаскивали до дома, а потом уж внимание обращать перестали. И вот уж не знаю, как это случилось, но подобрала его Люба и привела к себе. Отмыла, очистила, и живут теперь душа в душу... Люба-то после смерти матери теперь в храме за старшую, вроде старосты, а Виктор тоже при деле: вот на стройке за порядком следит, Фёдор у нас вроде как бригадир, а Виктор — замполит. Пытался на клиресе петь, но слуха никакого, зато Псалтырь читает хорошо. В общем, такая вот жизнь...

— Мне показалась, она беременна?

— Так у Виктора только ногу оторвало, остальное, стало быть, цело, а на Святки я их венчал, так что всё логично. У них вон персики в огороде растут... Всё слава Богу...

— Давай за Любу. За Любовь. С большой буквы.

— За любовь. Дай Бог каждому любви.

— И терпения.

— А как же, конечно: без терпения откуда любви взяться...

А Любу, подходившую к своему дому, всё ещё не отпускало случайно услышанное из открытого окна. “Как хорошо, — думала она, — что люди молятся за других. Есть же, выходит, такие молитвенники. Их молитвами и живём. Дай Бог им любви и терпения”.